



ДЗЕН СИММОНС

ПЕСНИ КАЛИ

Причудливая смесь
Говарда Лавкрафта
и Стивена Кинга, с добавлением
калькуттского безумия
и поэтического мистицизма.

Вселенная Стивена Кинга

ДЭН СИММОНС

Песнь Кали

«Издательство АСТ»

1985

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Coe)-44

Симмонс Д.

Песнь Кали / Д. Симмонс — «Издательство АСТ»,
1985 — (Вселенная Стивена Кинга)

ISBN 978-5-17-133084-2

Калькутта. Древний город ученых, философов, музыкантов, художников и поэтов. Город таинственных историй и странных верований, сочетающий в себе божественную красоту и отвратительное уродство, высоту духа и нищету обитателей тесных ночлежек, тонкие благовония и смрад мертвечины. Журналист Роберт Лузак по заданию редакции отправляется в это знаменитое место, чтобы привезти в Америку рукопись поэта Даса, ученика легендарного Рабиндраната Тагора. Обычная командировка оборачивается чередой ужасающих происшествий...

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-133084-2

© Симмонс Д., 1985
© Издательство АСТ, 1985

Содержание

1	6
2	12
3	15
4	21
5	26
6	36
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Дэн Симмонс

Песнь Кали

Dan Simmons
Song of Kali

© Dan Simmons, 1985

© Перевод. В. Малахов, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Харлану Эллисону, который слышал песнь, а также Карен и Джейн, которые являются моими другими голосами.

...Есть тьма. Она для всех. Лишь некоторые из греков и их почитателей в своем текущем расцвете, где дружба красоты с человеческими существами была идеальной, считали, что они отчетливо отделены от этой тьмы. Но и эти греки находились в ней. Но все равно завязшее в грязи, терзаемое голодом, загнанное в сутолоку улиц, ввергнутое в войны, страдающее, несчастное, суетящееся, получающее удары в живот, убитое горем, бесхребетное человечество продолжает восхищаться ими; все его множество, кто из-под клубов черного дыма хаоса Везувия, кто среди вздымающейся калькуттской полночи, вполне сознавая, где они.

Сол Беллоу

Но это Ад; и я не вышел из него.

Кристофер Марлоу

Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать. Есть города, слишком безнравственные, чтобы испытывать страдания. Калькутта – именно такое место. До Калькутты я бы только посмеялся над такой идеей. До Калькутты я не верил в зло – во всяком случае, в качестве силы, отдельной от действий людей. До Калькутты я был глупцом.

Захватив Карфаген, римляне истребили мужчин, продали в рабство женщин и детей, разрушили громадные сооружения, раздробили камни, сожгли развалины, усыпали солью землю, чтобы ничто более не произрастало на том месте. Для Калькутты этого недостаточно. Калькутта должна быть *стерта*.

До Калькутты я участвовал в маршах мира против ядерного оружия. Теперь я грежу о ядерном грибе, поднимающемся над неким городом. Я вижу дома, превращающиеся в озера расплавленного стекла. Я вижу улицы, текущие реками лавы, и настоящие реки, выкипающие громадными сгустками пара. Я вижу фигуры людей, вытанцовывающих, как горящие насекомые, как вихляющие богомолы, дергающихся и лопающихся на ослепительно красном фоне полного разрушения.

Город этот – Калькутта. Не могу сказать, чтобы мне были неприятны эти видения.

Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать.

1

Сегодня в Калькутте бывает все что угодно... Кого мне винить?
Санкха Гош

– Не ездь, Бобби, – сказал мой друг. – Не стоит оно того.

Шел июнь 1977 года, когда я приехал из Нью-Гемпшира в Нью-Йорк, чтобы обговорить с редактором из «Харперс» последние детали моей поездки в Калькутту. После этого я решил заскочить к своему другу, Эйбу Бронштейну. Скромное конторское здание на окраине, приютившее наш маленький литературный журнальчик «Другие голоса», выглядело весьма неприятно после нескольких часов созерцания Мэдисон-авеню с разреженных высот апартаментов издательства «Харперс».

Эйб в одиночестве сидел в своем захламленном кабинете и трудился над осенним номером «Голосов». Несмотря на открытые окна, воздух в комнате был таким же вонючим и сырым, как и потухшая сигара, которую жевал Эйб.

– Не ездь в Калькутту, Бобби, – повторил Эйб. – Пусть это будет кто-нибудь другой.

– Эйб, все уже решено, – ответил я. – Мы вылетаем на следующей неделе. – После некоторых колебаний я добавил: – Платят очень хорошо и берут на себя все расходы.

– Гм-м, – молвил Эйб, передвинув сигару в другой уголок рта и хмуро уставившись в наваленную перед ним кучу рукописей.

Глядя на этого потного, всклокоченного человечка, больше, чем кто бы то ни было, напоминавшего заезженного букмекера, никто бы и подумать не мог, что он возглавляет один из наиболее уважаемых «малых журналов» страны. В 1977 году «Другие голоса» не затмевал старый «Кэньон ревью» и не вызывал необоснованного беспокойства по поводу конкуренции у «Хадсон ревью», но мы рассылали нашим подписчикам ежеквартальные номера журнала; пять повестей из тех, что впервые опубликовал наш журнал, были отобраны для антологий на премию О'Генри, а в посвященный десятилетней годовщине юбилейный номер пожертвовала повесть сама Джойс Кэрол Оутс. В разное время я перебивал в «Других голосах» помощником редактора, редактором отдела поэзии и корректором без жалованья. Теперь же, после того как я в течение года предавался раздумьям среди нью-гемпширских холмов и только что выпустил книгу стихов, я был лишь одним из уважаемых авторов. Но я по-прежнему считал «Другие голоса» *нашим* журналом, а Эйба Бронштейна – близким другом.

– Но какого черта, Бобби, они посылают именно тебя? – спросил Эйб. – Почему «Харперс» не отправит туда кого-нибудь из своих боссов, раз уж это настолько важно, что они даже расходы берут на себя?

Эйб попал в точку. Мало кто слышал о Роберте С. Лузаке в 1977 году, даром что «Зимние призраки» удостоились половины колонки обзора в «Таймс». И все же во мне теплилась надежда на то, что люди – во всяком случае, те несколько сотен, чье мнение чего-то стоит, – слышали обо мне, и слышали нечто многообещающее.

– «Харперс» вспомнил обо мне из-за моей прошлогодней статьи в «Голосах», – сказал я. – Помнишь, та, о бенгальской поэзии. Ты еще сказал тогда, что я слишком много времени убил на Рабиндраната Тагора.

– Как же, помню, – откликнулся Эйб. – Удивительно еще, что эти клоуны из «Харперс» знают, кто такой Тагор.

– Мне позвонил Чет Морроу. Он сказал, что статья произвела на него глубокое впечатление. – Я решил опустить тот факт, что Морроу забыл имя Тагора.

– Чет Морроу? – проворчал Эйб. – Он разве уже не пишет кинороманы по телесериалам?

– Пока он работает временным помощником редактора «Харперс», – ответил я. – Он хочет получить статью о Калькутте к октябрьскому номеру.

Эйб покачал головой.

– А как насчет Амриты и крошки Элизабет-Регины...

– Виктории, – закончил я за него.

Эйб знал, как зовут мою малышку. Когда я впервые сообщил ему, как мы назвали девочку, Эйб заметил, что имя довольно удачное для потомства индийской принцессы и чикагского полячишки. Этот человек был воплощением чуткости. Хоть Эйбу и было далеко за пятьдесят, он так и жил вместе со своей матушкой в Бронксвилле. Он с головой ушел в издание журнала и казался безразличным ко всему, что напрямую с этим не связано. Как-то зимой у него в конторе сломалось отопление, и большую часть января он проработал там, закутавшись в шерстяное пальто, прежде чем пошевелил пальцем, чтобы сделали ремонт. В то время Эйб общался с людьми в основном по телефону или по почте, но его язык от этого не становился менее язвительным. Я начал понимать, почему никто не занял мое место ни на посту помощника редактора, ни в должности редактора отдела поэзии.

– Ее зовут Виктория, – повторил я.

– Не важно. А как Амрита отреагировала на то, что ты собираешься сбежать и бросить ее одну с ребенком? Кстати, сколько девочке? Месяца два?

– Семь месяцев.

– Не рано ли уезжать в Индию и оставлять их одних?

– Амрита тоже едет. И Виктория. Я убедил Морроу в том, что Амрита может переводить мне с бенгальского.

Это не совсем соответствовало истине. Именно Морроу предложил мне взять с собой Амриту. По правде говоря, эту работу я получил благодаря имени Амриты. До звонка мне «Харперс» обращался к трем авторитетам в области бенгальской литературы, двое из которых были индийскими писателями, живущими в Штатах. Все трое отвергли предложение, но последний из них упомянул в разговоре Амриту, и – хотя ее специальностью была математика, а не литература, – Морроу за это уцепился. «Она ведь говорит по-бенгальски?» – спросил Морроу по телефону. «Конечно», – ответил я. На самом же деле Амрита знала хинди, маратхи, тамильский и немного пенджаби, а также говорила по-немецки, по-русски и по-английски, но только не по-бенгальски. «Один черт», – подумал я.

– А Амрита хочет ехать? – спросил Эйб.

– Ждет не дождется, – ответил я. В Индии она не была с тех пор, как ее отец перевез семью в Англию, – тогда ей было семь лет. Да и в Лондоне по дороге в Индию она хочет немного побыть, чтобы ее родители посмотрели на Викторию. Насчет последнего я уже не покривил душой. В Калькутту с ребенком Амрита ехать не хотела, пока я не убедил ее в том, что эта поездка исключительно важна для моей карьеры. Остановка в Лондоне стала для нее решающим фактором.

– Ладно, – буркнул Эйб. – Валяй, езжай в свою Калькутту.

Его тон, однако, отчетливо выражал, что он думает по поводу этой затеи.

– Объясни, почему ты против этой поездки, – потребовал я.

– После. Для начала расскажи-ка про этого самого Даса, о котором болтает Морроу. Еще я хотел бы знать, почему ты хочешь, чтобы я забил половину весеннего номера «Голосов» для очередной писанины этого Даса. Терпеть не могу перепечатки, а среди его стихов не найдется и десяти строчек, чтобы не печатались и не перепечатывались до тошноты.

– Верно, речь о Дасе, – сказал я. – Но не перепечатки. Новые вещи.

– Рассказывай.

И я стал рассказывать.

– В Калькутту я собираюсь, чтобы разыскать там поэта М. Даса, – начал я. – Разыскать, поговорить с ним и привезти кое-что из его новых работ для публикации.

Эйб уставился на меня.

– Угу, – произнес он. – Не получится. М. Дас умер. Преставился годков эдак шесть-семь тому назад. Кажется, в семидесятом.

– В июле тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, – уточнил я, не сумев удержаться от самодовольной нотки в голосе. – Он исчез в июле шестьдесят девятого, когда возвращался после похорон, точнее, кремации своего отца в одной деревне в Восточном Пакистане – сейчас это Бангладеш, – и все решили, что его убили.

– Ага, припоминаю, – сказал Эйб. – Я тогда останавливался на пару дней у вас с Амритой, на вашей бостонской квартире, когда Союз поэтов Новой Англии проводил мемориальные чтения в его честь. Ты еще читал что-то из Тагора и отрывки из эпических поэм Даса про... как ее... эту монахиню – мать Терезу.

– А еще ему были посвящены две вещи из моего чикагского цикла, – добавил я. – Но, кажется, мы немного поторопились. Дас, судя по всему, снова всплыл в Калькутте – во всяком случае, появились его новые стихи и письма. «Харперс» заполучил кое-какие образчики через одно тамошнее агентство, с которым они работают, и те, кто знал Даса, утверждают, что эти новые вещи написаны наверняка им. Но никто не видел его самого. Так вот, «Харперс» хочет, чтобы я попробовал раздобыть что-нибудь из его новых работ, но основной темой статьи будет что-то вроде «В поисках М. Даса». А теперь хорошая новость. «Харперс» имеет право первого выбора из тех стихов, которые я заполучу, но все остальное мы можем тиснуть в «Других голосах».

– Паршивые объедки, – буркнул Эйб, принявшись жевать сигару. За годы совместной работы с Бронштейном я привык к подобному изъятию глубокой благодарности. Я промолчал, и в конце концов он заговорил сам:

– И где же, Бобби, этот самый Дас пропадал восемь лет?

Я пожал плечами и сунул ему фотокопию, полученную от Морроу. Эйб изучил ее, повертел на вытянутых руках, повернул боком, как журнальный разворот, и швырнул обратно.

– Сдаюсь, – сказал он. – Что это за хреновина?

– Это кусок новой поэмы, которую, как предполагают, Дас написал за последние годы.

– Это на хинди?

– Нет, в основном санскрит и бенгали. А вот английский перевод.

Я подал ему другую копию.

По мере того как Эйб читал, его потный лоб покрывался все более глубокими морщинами.

– Боже праведный, Бобби, и для этого я должен оставить весенний номер? Да здесь про какую-то дамочку, которая трахается на собачий манер и одновременно пьет кровь из безголового мужика. Или я чего-то не понял?

– Все точно. Именно про это. Правда, в этом отрывке всего несколько строк. И перевод довольно приблизительный.

– Я думал, что поэзия Даса лирична и сентиментальна. Вроде того, как ты описываешь в своей статье стихи Тагора.

– Он таким был. И есть. Но не сентиментальный, а *оптимистичный*. — Эту фразу я использовал неоднократно для защиты Тагора. Черт возьми, да этой же фразой я обычно отстаивал и свои собственные труды.

– Угу, – согласился Эйб. – Оптимистичный. Особенно мне нравится вот этот оптимистический кусочек: «Kama Rati kamé/viparita karé rati». Судя по переводу, это означает: «Обезумевшие от похоти, Кама и Рати сношаются, как собаки». Мило, ничего не скажешь. Да, Бобби, здесь явно заметна такая игривость. Что-то вроде раннего Роберта Фроста.

– Это отрывок из бенгальской народной песни, – пояснил я. – Обрати внимание, как Дас вплеел ее ритм в весь пассаж. Он переходит от классической ведической формы к народной бенгальской и снова возвращается к ведической. Даже с учетом того, что это перевод, здесь чувствуется усложненный стилистический подход...

Я заткнулся. Я просто повторил то, что услышал от Морроу, а тот, в свою очередь, передал мне то, что узнал от кого-то из своих «консультантов». В маленькой комнатухе было очень жарко. В открытое окно врвался монотонный гул машин и почему-то успокаивающий, далекий звук сирены.

– Ты прав, – заговорил я. – Совершенно не похоже на Даса. Почти невероятно, что такие строки принадлежат перу того же человека, который написал поэму о матери Терезе. Помоему, Даса нет в живых, а это все какое-то надувательство.

Эйб уселся поглубже в свое вращающееся кресло, и я на какое-то мгновение поверил, что он и в самом деле собирается вынуть изо рта огрызок сигары. Вместо этого он насупился, погонял сигару во рту слева направо и обратно, откинулся на спинку и сцепил на затылке короткие пальцы.

– Бобби, а я никогда не рассказывал тебе, как однажды побывал в Калькутте?

– Нет. – Я удивленно моргнул.

Эйб много поездил в бытность свою репортером, пока не написал первый роман, но редко заговаривал о том времени. Приняв у меня когда-то статью о Тагоре, он между прочим заметил, что однажды провел месяцев девять при лорде Маунтбеттене в Бирме. Рассказы его о репортерской работе были редкими, но неизменно интересными.

– Во время войны? – спросил я.

– Нет. Сразу после. Во время волнений в связи с разделом между мусульманами и индусами в тысяча девятьсот сорок седьмом году. Британцы тогда уносили ноги, разрезав Индию на два государства и предоставив возможность двум религиозным группировкам истреблять друг друга. Было это задолго до тебя, верно, Роберто?

– Я об этом читал, Эйб. И ты отправился в Калькутту делать репортажи о волнениях?

– Нет. В то время люди не хотели больше читать про войну. А в Калькутту я поехал, потому что Ганди... Махатма, не Индира... туда собирался, а мы писали о нем. Человек Мира, Святой в Накидке и прочая фигня. Как бы там ни было, в Калькутте я пробыл около трех месяцев.

Эйб умолк и провел рукой по редющим волосам. Казалось, он не может подобрать слова. Я ни разу не видел, чтобы Эйб затруднялся в речи – писал ли он, говорил или орал.

– Бобби, – после паузы спросил он, – а известно ли тебе, что означает слово «миазмы»?

– Ядовитая атмосфера, – скорее раздраженно, чем озадаченно, ответил я. – Как на болоте. Или еще чем-нибудь отравленная. Происходит слово, вероятно, от греческого «*miaínein*», что значит «загрязнять».

– Точно, – подтвердил Эйб, снова погоняя во рту сигару.

Он не обратил внимания на мой небольшой выпендрег. Эйба Бронштейна не удивлял тот факт, что его бывший редактор отдела поэзии знает греческий.

– Так вот, единственное слово, которое могло бы охарактеризовать для меня Калькутту тогда... или сейчас... это «миазм». Я даже слышать не могу одно из этих двух слов, чтобы тут же не вспомнить про другое.

– Город был построен на болоте, – заметил я, все еще чувствуя раздражение. Не привык я выслушивать от Эйба такую бредятину. Как если бы надежный старый сантехник вдруг начал разглагольствовать на темы астрологии. – И поедем мы туда в сезон дождей, то есть не в самое лучшее время года, как я понимаю. Но не думаю, что...

– Да я не про погоду, – перебил Эйб. – Хоть это и самая жаркая, самая влажная, гнусная дыра, что мне только приходилось видеть. Хуже, чем Бирма в сорок третьем. Хуже, чем

Сингапур во время тайфуна. Бог ты мой, да это хуже, чем Вашингтон в августе. Нет, Бобби, я говорю не о *месте*, черт бы его побрал. Есть что-то... что-то миазматическое в этом городе. Ни разу не приходилось мне бывать в месте столь подлом или дерьмовом, а бывал я в самых грязных городах мира. Калькутта *испугала* меня, Бобби.

Я кивнул. Из-за жары у меня начиналась головная боль – она уже пульсировала за ушами.

– Эйб, ты проводил время не в тех городах, – легкомысленно сказал я. – Попробуй провести лето в северной Филадельфии или на южной окраине Чикаго, где я рос. После этого Калькутта покажется Городом Веселья.

– Да, – сказал Эйб. На меня он больше не смотрел. – Понимаешь, дело не столько в самом городе. Я хотел убраться из Калькутты, и шеф моего бюро... бедолага, что помер через пару лет от цирроза печени... в общем, этот говнюк дал мне задание осветить открытие моста где-то в Бенгалии. Я хочу сказать, что там не было еще даже железной дороги, соединяющей два куска джунглей через реку шириной ярдов двести и глубиной дюйма три. Но мост тем не менее был построен на одно из первых денежных поступлений из Штатов после войны. Вот я и должен был освещать открытие. – Эйб замолчал и выглянул из окна. Откуда-то с улицы донеслись сердитые выкрики на испанском. Эйб, казалось, не слышал их. – Так что работенка была не из самых приятных. Проектировщики и строители уже исчезли, а открытие представляло собой обычную мешанину из политики и религии, что для Индии вполне обычно. В тот вечер было слишком поздно возвращаться на джипе – как бы там ни было, я не спешил вернуться в Калькутту, – и я остался в маленькой гостинице на окраине деревни. Возможно, эта деревня ускользнула от глаз британской инспекции во времена раджей. Но ночь была чертовски душной – когда даже пот не стекает с кожи, а висит в воздухе, – а москиты просто сводили меня с ума. В общем, где-то после полуночи я встал с постели и пошел к мосту. Выкурив сигарету, я отправился назад. Если бы не полнолуние, я бы этого не увидел.

Эйб вынул сигару изо рта. Он скривился с таким видом, будто она была такой же противной, как и его физиономия.

– Ребенку вряд ли было больше десяти лет, а может, и меньше. Он висел на куске арматуры, торчавшем из бетонной опоры с западной стороны моста.

Наверное, он умер не сразу и еще некоторое время боролся за жизнь, после того как штыри пронзили его...

– Он что, забирался на новый мост? – спросил я.

– Тогда я так и подумал, – ответил Эйб. – Именно это представители местной власти и сообщили во время расследования. Но пусть меня повесят, если я могу объяснить, как он умудрился наткнуться на те штыри... Ему пришлось бы оттолкнуться и прыгнуть с самой верхотуры. Уже потом, через несколько недель, когда господин Ганди закончил поститься, а в Калькутте прекратились волнения, я отправился в тамошний британский консулат, чтобы раздобыть экземпляр повести Киплинга «Строители моста». Ты ведь читал эту повесть?

– Нет, – ответил я. – Терпеть не могу ни поэзию, ни прозу Киплинга.

– А стоило, – заметил Эйб. – Малая проза Киплинга весьма недурна.

– И о чем повесть? – спросил я.

– В общем, она о том, что строительству любого моста приходит конец. А у бенгальцев на этот счет была тщательно разработанная религиозная церемония.

– И в этом нет ничего необычного? – спросил я, почти догадавшись, к чему он клонит.

– Ни капли, – сказал Эйб. – В Индии любому событию посвящена какая-то религиозная церемония. Именно бенгальские обычаи и побудили Киплинга написать эту повесть. – Эйб сунул сигару обратно в рот и продолжал говорить сквозь сомкнутые зубы: – По окончании строительства любого моста приносили человеческую жертву.

– Правильно, – сказал я. – Великолепно. – Собрав фотокопии, я сунул их в папку и встал, намереваясь уйти. – Если вспомнишь еще что из киплингских сказок, обязательно позвони, Эйб. Амрита получит большое удовольствие.

Эйб тоже поднялся, опершись о стол. Его толстые пальцы уткнулись в стопки бумаг.

– Черт бы тебя побрал, Бобби, я бы предпочел, чтобы ты вообще не ввязывался в эти...

– Миазмы, – подсказал я.

Эйб кивнул.

– Буду держаться подальше от новых мостов, – пообещал я, направляясь к двери.

– Как бы там ни было, подумай еще разок, стоит ли брать Амриту с ребенком.

– Мы поедем, – сказал я. – Все решено. Остается один вопрос: хочешь ли ты увидеть вещи Даса, если это Дас, и могу ли я зарезервировать права на издание? Что скажешь, Эйб?

Эйб снова кивнул. Сигару он засунул в забитую пепельницу.

– Я пришлю тебе открытку из бассейна калькуттского гранд-отеля «Оберой», – сказал я, открывая дверь.

Я взглянул на Эйба в последний раз. Он стоял, вяло вытянув руку, – то ли махал мне на прощание, то ли просто демонстрировал усталую покорность судьбе.

2

Вам хотелось бы знать Калькутту?

Тогда приготовьтесь забыть ее.

Сушил Рой

Ночью накануне вылета мы с Амритой, кормившей Викторию, сидели на террасе нашего дома в Нью-Гемпшире. На фоне темной полосы деревьев мигали огоньки светлячков, словно передававших кому-то свои загадочные послания. Кузнечики, древесные лягушки и несколько ночных птиц вплетали свои голоса в ковер фонового ноктюрна. До Эксетера было всего несколько миль, но временами здесь стояла такая тишина, словно мы находились в другом мире. Такую оторванность я ценил, пока сидел за письменным столом – а я провел за ним практически всю зиму, – но теперь ощущал, что меня точит какое-то беспокойство, что именно эти месяцы отшельничества породили во мне страстное желание попутешествовать, увидеть незнакомые места, лица.

– Ты точно хочешь ехать? – спросил я. Мой голос слишком громко прозвучал в ночи.

Амрита подняла глаза, когда ребенок закончил есть. Тусклый свет из окна озарял выступающие скулы Амриты и ее нежную смуглую кожу. Ее темные глаза, казалось, излучают внутреннее сияние. Иногда она была такой красивой, что я испытывал физическую боль при мысли о том, что мы могли бы не встретиться, не пожениться, не завести ребенка. Она слегка приподняла Викторию, и я успел заметить нежную линию груди и набухший сосок, прежде чем блузка была застегнута.

– Я не прочь слетать, – ответила Амрита. – Очень приятно будет повидать родителей.

– Ну а Индия? Калькутта? Туда-то ты хочешь?

– Я не против, если смогу чем-то помочь.

Уложив мне на плечо сложенную чистую пеленку, она подала мне Викторию. Я погладил дочке спинку и ощутил ее тепло, вдохнул запах молока и детского тельца.

– Ты уверена, что это не мешает твоей работе? – спросил я.

Виктория заворочалась у меня в объятиях, потянувшись пухленькой ручонкой к моему носу. Я подул на ее ладошку, она хихикнула и срыгнула.

– Никаких проблем, – ответила Амрита, однако я понимал, что проблемы будут. После Дня труда она собиралась преподавать математику старшекурсникам в Бостонском университете, и я знал, сколько ей нужно готовиться.

– Ты хочешь снова побывать в Индии? – спросил я.

Виктория придвинула головенку поближе к моей щеке и теперь радостно пускала слюни мне на воротник.

– Любопытно сравнить с той, что я помню, – сказала Амрита.

Голос у нее был нежным, отшлифованным тремя годами учебы в Кембридже, но она никогда не сбивалась на ровное британское произношение. Ее речь напоминала поглаживание твердой, но хорошо смазанной ладонью.

Амрите было семь лет, когда ее отец перевел свою инженерную фирму из Нью-Дели в Лондон. Воспоминания об Индии, которыми она со мной делилась, не выходили за рамки расхожих представлений о культуре, где в одну кучу смешались шум, сумятица и кастовое неравенство. Трудно было представить что-нибудь более чуждое характеру самой Амриты: она воплощала в себе спокойное достоинство, терпеть не могла суету и беспорядок в любых проявлениях, переживала из-за несправедливости, а ее интеллект был вымуштрован упорядоченными ритмами лингвистики и математики.

Амрита однажды рассказывала о своем доме в Дели и квартире дяди в Бомбее, где проводила с сестрами летние месяцы: голые стены с пятнами сажи и застарелыми отпечатками пальцев, открытые окна, грубые простыни, ползающие ночами по стенам ящерицы, беспорядочная дешевость во всем. Наш же дом под Эксетером был чист и открыт, как мечта скандинавского архитектора: повсюду некрашеное дерево, удобное модульное расположение, безукоризненно белые стены и подсвеченные рассеянным светом произведения искусства.

Деньги, позволившие нам иметь этот дом и небольшую коллекцию предметов искусства, принадлежали Амрите. Она называла их шутя своим «приданным». Поначалу я сопротивлялся. В 1969 году, в первый год нашей семейной жизни, я записал в налоговой декларации годовой доход в пять тысяч семьсот тридцать два доллара. К тому времени я оставил преподавание в колледже Уэлсли и занимался исключительно литературным трудом и редактированием. Мы жили в Бостоне, в такой квартире, где даже крысам приходилось ходить пригнувшись. Я ни на что не обращал внимания и ради искусства был готов страдать бесконечно долго. Но Амрита не разделяла моей готовности. Она никогда не спорила, с пониманием отнеслась к моему категорическому отказу использовать средства из ее доверительной собственности, но в 1972 году внесла базовый залог за дом с четырьмя акрами земли и купила первую из девяти наших картин: небольшой этюд маслом Джейми Уайета.

– Заснула, – сказала Амрита. – Можешь не качать.

Я убедился в ее правоте, взглянув на дочь. Виктория спала с открытым ртом, полусжав кулачки. Ее частое дыхание обдувало мне шею. Я продолжал ее покачивать.

– Может быть, занесем ее в дом? – спросила Амрита. – Холодает.

– Одну минутку, – ответил я. Моя ладонь была шире спины ребенка.

Когда Виктория появилась на свет, мне было тридцать пять, а Амрите – тридцать один. Много лет я говорил всем, кто хотел меня слушать, и кое-кому из тех, кто слушать не хотел, о тех чувствах, которые у меня вызывает появление на свет. Упоминал я и о перенаселении, и о том, как жестоко сталкивать младшее поколение с ужасами двадцатого века, и о безрассудстве тех, кто обзаводится нежеланным потомством. И снова Амрита не стала со мной спорить – хотя я подозреваю, что с ее подготовкой в формальной логике она разнесла бы по кочкам все мои аргументы за пару минут, – но где-то в начале 1976 года, приблизительно во время первичных выборов в нашем штате, Амрита в одностороннем порядке отказалась от таблеток. А 22 января 1977 года, через два дня после того, как Джимми Картер вступил в должность и въехал в Белый дом, у нас родилась дочь Виктория.

Я бы никогда не назвал ее Викторией, но в глубине души очень радовался этому имени. Впервые его предложила Амрита, в один прекрасный жаркий июльский день, и мы отнеслись к этому как к шутке. Кажется, одним из самых ранних ее воспоминаний было то, как она приезжает в Бомбей на вокзал «Виктория». Это громадное сооружение – один из уцелевших памятников британского владычества, и поныне, по всей видимости, продолжающего оказывать влияние на Индию, – всегда вызывало у Амриты благоговение. С той поры имя Виктория всегда ассоциировалось в ее душе с красотой, изяществом и чем-то таинственным. Так что поначалу мы просто шутили насчет того, что малышку назовем Викторией, но к Рождеству 1976 года мы уже знали, что никакое другое имя не подойдет нашему ребенку, если это будет девочка.

До рождения Виктории я имел обыкновение выражать недовольство теми нашими знакомыми парами, которые, как мне казалось, отупели после рождения детей. Люди с отточенным интеллектом, прежде наслаждавшиеся вместе с нами нескончаемыми разговорами о политике, прозе, о смерти театра, о закате поэзии, теперь бубнили только о первом зубе своего мальчика или часами делились захватывающими подробностями первого дня маленького Хэзера в подготовительном классе. Я поклялся, что никогда не опущусь до этого.

Но с нашим ребенком все было иначе. Развитие Виктории было достойно самого серьезного изучения. Оказалось, что я совершенно заворожен первыми же издаваемыми ребенком

звуками и ее самыми неуклюжими движениями. Даже тягостная процедура смены пеленок могла вызывать самые приятные чувства, когда моя девочка – мой ребенок! – размахивала пухленькими ручками и смотрела на меня с таким выражением, которое я принимал за изъяснение любви и оценки по достоинству того, что ее отец – печатающийся поэт – снисходит ради нее до таких мирских забот. Когда в возрасте семи недель она однажды утром одарила нас первой улыбкой, я тут же позвонил Эйбу Бронштейну, чтобы поделиться столь замечательной новостью. Эйб, привычка которого не вставать раньше половины одиннадцатого утра была известна не меньше, чем его чутье на хорошую прозу, поздравил меня и мягко заметил, что на часах всего лишь пять сорок пять.

Теперь Виктории исполнилось уже семь месяцев, и стало еще более очевидно, что ребенок она одаренный. Уже с месяц, как она научилась играть в «козу», а за несколько недель до того освоила прятки. В шесть с половиной месяцев она начала ползать – верный признак высокого интеллекта, хоть Амрита и утверждала обратное, – и меня совершенно не волновало, что при попытках ползти вперед Виктория почему-то неизменно двигалась в противоположном направлении. С каждым днем все отчетливее проявлялись ее лингвистические способности, и хоть мне никак не удавалось выделить из потока звуков «папа» или «мама» (даже когда я прокручивал запись на вдвое меньшей скорости), Амрита уверяла меня с еле заметной улыбкой, что она уже слышала от дочери целые русские и немецкие слова, а однажды даже целую фразу на хинди. А между тем я каждый вечер читал Виктории вслух, перемежая «Сказки матушки Гусыни» Уордсвортом, Китсом и тщательно отобранными отрывками из «Кантос» Паунда. Явное предпочтение она оказывала Паунду.

– Не пойти ли нам спать? – спросила Амрита. – Завтра надо встать пораньше.

Что-то в ее голосе привлекло мое внимание. Иногда она говорила: «Не пойти ли нам спать?», а иногда: «*Не пойти ли нам спать?*» На этот раз прозвучал второй вариант.

Я отнес Викторию в кроватку и с минуту постоял рядом, наблюдая, как она в окружении мягких игрушек лежит на животике под легким одеяльцем, положив голову на подушечку. Лунный свет падал на нее как благословение.

Потом я спустился, запер двери, выключил свет и вернулся наверх, где Амрита уже ждала меня в постели.

Позже, в заключительные мгновения нашей близости, я повернулся, чтобы заглянуть ей в лицо, как бы пытаюсь отыскать там ответ на невысказанные вопросы... Но на луну набежала туча, и все скрылось во внезапно наступившей темноте.

3

*В полночь этот город – Диснейленд.
Субрата Чакраварти*

В Калькутту мы прилетели в полночь, зайдя на посадку с юга, со стороны Бенгальского залива.

– Бог ты мой!.. – прошептал я, и Амрита перегнулась со своего места, чтобы выглянуть из иллюминатора.

По совету ее родителей мы воспользовались самолетом ВОАС и долетели до Бомбея, чтобы пройти таможенный контроль там. Все шло отлично, но внутренний рейс «Эйр-Индия» до Калькутты был по техническим причинам отложен на три часа. В конце концов нам разрешили подняться на борт, чтобы еще час проторчать рядом с терминалом, в то время как в салоне не работали ни освещение, ни кондиционер, потому что были отсоединены внешние источники питания. Какой-то бизнесмен, сидевший впереди, заметил, что рейс Бомбей – Калькутта задерживается каждый день на протяжении трех недель из-за конфликта между пилотом и бортинженером.

Уже в воздухе мы отклонились от маршрута далеко на юг из-за сильной грозы. Почти весь вечер Виктория вела себя беспокойно, но сейчас спала на руках у матери.

– Бог ты мой, – снова произнес я.

Под нами раскинулись 250 квадратных миль территории Калькутты – море огней после полной темноты заоблачных высот и Бенгальского залива. Во многие города мне приходилось прилетать по ночам, но ничего подобного я еще не видел. Здесь не было привычных правильных рядов электрических огней: Калькутта в полночь светилась бесчисленными фонарями, открытым огнем и странным неярким сиянием, исходившим из тысяч невидимых источников и напоминавшим фосфоресцирующие грибы. Вместо пересекающихся прямых линий упорядоченной городской планировки – с улицами, шоссе, автостоянками – мириады хаотически разбросанных огней Калькутты были перемешаны в беспорядочную кучу и походили на некое созвездие, разорванное лишь темным изгибом реки. Мне представилось, что именно такими – горящими – во время войны выглядели Лондон или Берлин в глазах потрясенных экипажей бомбардировщиков.

Потом колеса коснулись земли, в прохладный салон ворвался насыщенный влагой воздух и мы вышли, став частью шаркающей компании, бредущей к багажному отделению. Аэропорт был небольшим и грязным. Несмотря на позднее время, повсюду сновали шумные скопища потных людей.

– А нас никто не должен встретить? – спросила Амрита.

– Должен, – ответил я, выхватывая четыре сумки с потрепанной ленты транспортера.

Мы встали рядом с ними, в то время как толпа накатывала и откатывалась, подобно приливным волнам. От мужчин в белых рубашках и женщин в сари, сгрудившихся в небольшом здании, исходили импульсы какой-то истерии.

– Морроу связался с Союзом бенгальских писателей. Была договоренность, что некто по имени Майкл Леонард Чаттерджи отвезет нас в отель. Но мы задержались на несколько часов. Наверное, он уже уехал домой. Я попробую найти такси.

Бросив взгляд в сторону выхода, я увидел, что он забит толкающимися, орущими людьми, и остался рядом с сумками.

– Мистер и миссис Луцак. Роберт Луцак?

– Лу-зак, – машинально поправил я. – Да, я Роберт Лузак.

Я оглядел человека, который пробился к нам. Он был высок, худощав, в грязно-коричневых штанах и белой рубашке, казавшейся серой и не слишком чистой при зеленоватом флуоресцентном освещении. Внешне он выглядел довольно молодо – где-то под тридцать, пожалуй. Гладко выбрит, но черные волосы торчали огромными наэлектризованными пучками, а пронзительный взгляд темных глаз производил впечатление такой силы, что это граничило с ощущением сдерживаемой страсти к насилию. Его темные густые брови почти срослись над хищным ястребиным носом. Отступив на полшага, я поставил сумку, чтобы освободить правую руку.

– Мистер Чаттерджи?

– Нет, я не видел мистера Чаттерджи, – ответил он пронзительным голосом. – Меня зовут М. Т. Кришна. – Поначалу из-за шума толпы и напевного акцента мне послышалось «пустой Кришна»¹.

Я протянул руку, но Кришна повернулся и пошел вперед по направлению к выходу. Правой рукой он раздвигал толпу.

– Сюда, пожалуйста. Быстрее, быстрее.

Кивнув Амрите, я поднял три сумки. Невероятно, но Виктория, несмотря на жару и сумасшедшую толчею, продолжала спать.

– Вы из Союза писателей? – спросил я.

– Нет-нет. – Отвечая, Кришна даже не повернул головы. – Я, видите ли, работаю преподавателем на неполной ставке. И поддерживаю связь с Американским фондом образования в Индии. К моему инспектору, мистеру Шаху, обратился его очень хороший и давний друг, мистер Бронштейн из Нью-Йорка, который попросил меня оказать эту любезность. Быстрее.

На улице воздух показался еще более тяжелым и влажным, чем в наполненном испарениями помещении. Над дверями терминала прожектора высвечивали серебристую надпись.

– Аэропорт «Дум-Дум», – вслух прочитал я.

– Да-да. Именно здесь делали эти пули, пока они не были запрещены после Первой мировой войны, – пояснил Кришна. – Сюда, пожалуйста.

Внезапно мы оказались в окружении десятка носильщиков, помогающих возможности отнести нашу немногочисленную поклажу, – тощих, как стебли тростника, голоногих, завернутых в коричневое тряпье. Один из них был однорукий. Другой выглядел так, будто пережил страшный пожар: кожа у него на груди спеклась большими складками шрамов. Очевидно, он не мог говорить, хотя из покалеченного горла и вырывались требовательные булькающие звуки.

– Отдайте им багаж, – бросил Кришна. Он сделал повелительный жест, в то время как носильщики лезли друг на друга, чтобы добраться до сумок.

Нам пришлось пройти лишь около шестидесяти футов по закругляющейся дорожке. Насыщенный влагой воздух был темен и тяжел, как промокшее армейское одеяло. Потеряв на какую-то секунду ориентацию, я решил, что идет снег, так как воздух казался наполненным белыми хлопьями; лишь потом я сообразил, что это миллионы насекомых кружатся в лучах прожекторов аэропорта. Кришна махнул носильщикам и показал на машину. Я остановился в изумлении.

– Микроавтобус? – спросил я, хотя бело-голубой машине больше подошло бы название «раздолбанный драндулет». Вдоль борта шла надпись USEFI.

– Да-да-да. Удалось раздобыть только это. Теперь побыстрее.

Один из носильщиков, проворством напоминающий обезьяну, забрался сзади на крышу автобуса. Все наши четыре сумки были поданы наверх и закреплены на багажнике. Когда через багаж перебросили черную пластиковую ленту, у меня мелькнула невольная мысль: а почему

¹ Инициалы М. Т. созвучны в английском языке прилагательному empty – пустой, бессодержательный. – *Здесь и далее примеч. ред.*

нельзя было уложить все в салон? Пожав плечами, я вытащил две бумажки по пять рупий, чтобы дать носильщикам. Кришна забрал у меня из руки деньги и вернул мне одну бумажку.

– Нет. Слишком много, – сказал он.

Я снова пожал плечами и помог Амрите войти в салон. Из-за криков возбужденных носильщиков Виктория все-таки проснулась и теперь присоединила свой визг к общей суматохе. Кивнув сонному водителю, мы уселись на места справа. Кришна стоял у двери и переругивался с тремя носильщиками, которые несли наши вещи. Амрита не в полной мере поняла поток бенгальской речи, но все же сумела разобрать, что носильщики расстроены из-за невозможности поделить пять рупий на троих и требуют еще одну. Кришна крикнул что-то и стал закрывать дверцу автобуса. Старейший из носильщиков, лицо которого представляло собой лабиринт глубоких морщин, поросших седой щетиной, вышел вперед и встал на пути закрывающейся двери. Остальные носильщики переместились со своего места рядом с входом в здание аэропорта. Крики перешли в вопли.

– Ради бога, – сказал я Кришне, – вот, возьмите, дайте им еще несколько рупий. Поехали отсюда.

– Нет! – Взгляд Кришны метнулся в мою сторону, и на этот раз ярость в нем уже не сдерживалась. Такое выражение можно наблюдать на лицах тех, кто участвует в кровавых развлечениях. – Слишком много, – твердо заявил он.

Теперь у двери стояла целая ватага носильщиков. Вдруг они захлопали ладонями по борту автобуса. Водитель выпрямился и нервно поправил кепку. Старик в дверном проеме поднялся на нижнюю ступеньку, будто собирался войти в салон, но Кришна приставил три пальца к его обнаженной груди и резко толкнул. Старик упал спиной в море силуэтов в коричневых одеяниях.

В приоткрытое стекло рядом с Амритой вдруг вцепились шишковатые пальцы, и на нем, как на перекладине, подтянулся носильщик с обожженным лицом. Его губы отчаянно шевелились в нескольких дюймах от нас, и мы разглядели, что у него не было языка. На запыленное окно брызгала слюна.

– Черт возьми, Кришна! – Я приподнялся, чтобы дать носильщикам деньги.

Тут из тени вышли трое полицейских. Они носили белые шлемы, ремни под Сэма Брауна и шорты цвета хаки. Двое из них держали в руках латхи – индийский вариант полицейской дубинки: трехфутовые палки из тяжелого дерева с металлическим сердечником в рабочем конце.

Толпа носильщиков продолжала шуметь, но расступилась, чтобы пропустить полицейских. Лицо со шрамами исчезло из окна со стороны Амриты. Первый полицейский стукнул палкой по радиатору машины, и старый носильщик повернулся к нему, чтобы выкрикнуть свои жалобы. Полицейский поднял свое смертоносное оружие и что-то рявкнул в ответ. Кришна воспользовался представившейся возможностью и повернул ручку, запиравшую дверцу автобуса. Он бросил пару слов водителю, и мы двинулись, набирая скорость, по темной дорожке. По задней стенке автобуса гроыхнул брошенный камень.

Затем мы покинули территорию аэропорта и выехали на пустую четырехрядную трассу.

– VIP-шоссе! – крикнул Кришна, не отходя от двери. – Ездят только очень важные персоны.

Справа промелькнул выцветший щит. Незатейливая надпись на хинди, бенгали и английском гласила: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЛЬКУТТУ».

Мы ехали с выключенными фарами, но внутреннее освещение в автобусе продолжало гореть. Вокруг чудесных глаз Амриты легли темные тени усталости. Виктория – слишком измотанная, чтобы спать, утомленная от плача – потихоньку хныкала на руках у матери. Кришна сел боком впереди от нас. Ястребиный профиль его сердитого лица освещался лампочками над головой и редкими уличными фонарями.

– Я учился в университете в Штатах почти три года, – сообщил он.

– Правда? – откликнулся я. – Как интересно.

Мне хотелось врезать по физиономии этому тупому сукиному сыну за устроенную им бучу.

– Да-да. Я работал с черными, чиканос, краснокожими индейцами. Угнетенными людьми вашей страны.

Болотистые темные поля, окружавшие шоссе, внезапно уступили место беспорядочному скоплению лачуг, подступавших прямо к обочине. Сквозь джутовые стены просвечивали фонари. В отдалении, у костров, на фоне желтого пламени судорожно двигались резко очерченные силуэты. Без заметного перехода мы выехали из сельской местности и теперь крутились по узким, залитым дождем улочкам, проходившим мимо кварталов заброшенных многоэтажек, протянувшихся на многие мили трущоб с крышами из жести и бесконечных рядов обветшалых, почерневших фасадов лавок.

– Мои профессора были глупцы. Консервативные глупцы. Они думали, что литература состоит из мертвых слов в книгах.

– Да, – произнес я, не имея представления, о чем толкует Кришна.

Улицы были затоплены. Местами вода поднималась на два-три фута. Под рваными навесами полулежали, спали, сидели на корточках закутанные фигуры и смотрели на нас глазами, в которых виднелись лишь белки, окруженные тенью. В каждом переулке взгляду представляли открытые помещения, резко освещенные дворы, тени, передвигающиеся среди теней. Какому-то хилому человечку, толкавшему тяжело груженную тележку, пришлось отскочить в сторону от нашего автобуса, обдавшего его самого и его груз водяной завесой. Он потрясал кулаком, изрыгал неслышные нам проклятия.

Здания выглядели гораздо старше своего истинного возраста и казались некими заброшенными осколками какого-то давно забытого тысячелетия – еще до появления человека, – поскольку все эти тени, углы, проемы и пустоты отнюдь не походили на произведения архитектуры. И все же на каждом втором или третьем этаже в открытых окнах этих друидских жертвенников мелькали свидетельства присутствия человека: покачивающиеся неприкрытые лампочки, дергающиеся головы, ободранные стены с отвалившейся от белых ребер зданий штукатуркой, аляповатые картинки с многорукими божествами, выдранные из журналов и криво наклеенные на стены или окна... Слышались крики играющих, носящихся по темным переулочкам ребятишек, почти неслышное хныканье младенцев – и повсюду, куда ни кинешь взгляд, суматошное движение, шуршание автобусных покрышек по раскисшей глине и гудрону, закутавшиеся фигуры, будто трупы, лежащие в тени тротуаров. Меня охватило ужасное ощущение уже виденного.

– Я ушел с омерзением, когда один дурак-профессор не стал брать мою работу о долге Уолта Уитмена перед дзен-буддизмом. Высокомерный провинциальный дурак.

– Да, – сказал я. – Как вы думаете, нельзя ли выключить внутреннее освещение?

Мы подъезжали к центру города. Гниющие трущобы уступили место строениям покрупнее, еще более гнилого вида. Уличные фонари попадались редко. Слабые отблески зарниц отражались в глубоких черных лужах, растекшихся на перекрестках. Казалось, что перед каждым темным фасадом лавки лежали или приподнимались посмотреть на приближающийся автобус закутанные в тряпье фигуры, напоминавшие тюки невостребованного белья в прачечной. В желтом свете внутри автобуса мы выглядели как бледные трупы. Теперь я понимал, что должны чувствовать военнопленные, которых провозят по улицам вражеской столицы.

Впереди в круге черной воды на ящике стоял мальчик и, как мне показалось, крутил за хвост дохлого кота. Он швырнул его в подъехавший автобус, и только тогда, когда покрытая шерстью тушка с глухим звуком отскочила от ветрового стекла, я сообразил, что это была

крыса. Водитель выругался и направил машину на ребенка. Мальчик отпрыгнул, мелькнув коричневыми пятками, а ящик, на котором он стоял, разлетелся под правым колесом.

– Вы понимаете, конечно, потому что вы поэт, – продолжал Кришна, ощерив мелкие, острые зубки.

– Как насчет освещения? – спросил я, чувствуя, что начинаю закипать. Амрита коснулась моей руки левой ладонью.

Кришна бросил что-то по-бенгальски. Водитель пожал плечами и буркнул в ответ.

– Выключатель сломан, – пояснил Кришна.

Мы выехали на открытое пространство. То, что могло быть парком, жирной черной линией рассекало лабиринт покосившихся строений. Посреди захлавленной площади стояли два заброшенных трамвая, а рядом с ними под провисшим навесом сгрудились с десятков семейств. Снова начинался дождь. Внезапно обрушившийся ливень колотил, словно кулаками, с неба по железу автобуса. Щетка была лишь со стороны водителя, и она лениво боролась с водяной завесой, которая вскоре отделила нас от города сплошной пеленой.

– Мы должны поговорить о мистере М. Дасе, – сказал Кришна.

Я моргнул.

– Я хочу, чтобы свет был выключен, – медленно и отчетливо произнес я. Иррациональная ярость накапливалась во мне с самого аэропорта. Через секунду я уже не сомневался, что душу этого ограниченного, бесчувственного идиота: буду душить, пока эти лягушачьи глаза не вылезут из его дурацкой башки. Я ощущал, что злость, как тепло от крепкого алкоголя, растекается по телу. Амрита, должно быть, почувствовала, что я вот-вот взбешусь, поскольку ее пальцы сжались на моей руке, как клещи.

– Очень важно, чтобы я поговорил с вами о мистере М. Дасе, – сказал Кришна.

Духота в автобусе была почти невыносимой. Пот застыл на лице, как волдыри от ожога. Наше дыхание, казалось, зависло в воздухе облаком пара, в то время как мир вокруг оставался скрытым за стеной грохочущего ливня.

– Я выключу этот проклятый свет, – проговорил я и начал подниматься. Если б не Виктория, Амрита вцепилась бы в меня сзади обеими руками.

Кришна удивленно поднял широкие брови, когда я навис над ним. Правую руку я высвободил как раз в тот момент, когда Амрита сказала:

– Уже не имеет значения, Бобби. Мы приехали. Смотри, вот отель.

Я застыл и наклонился, чтобы выглянуть в окно. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался, и лишь слегка моросило. Моя злость улетучилась вместе с затихающим стуком дождя по крыше.

– Мы, наверное, поговорим попозже, мистер Лузак, – настаивал на своем Кришна. – Это весьма важно. Наверное, завтра.

– Хорошо.

Я взял Викторию на руки и первым вышел из автобуса.

Сумрачный фасад гранд-отеля «Оберой» напоминал гранитную скалу, но из-за двойных дверей проникало немного света. Потрепанный тент доходил до бордюра. На другой стороне улицы стояли с десятков молчаливых темных фигур под лоснящимися от дождя зонтами. Некоторые из них держали намокшие плакаты. На одном я разглядел серп и молот и английское слово «НЕСПРАВЕДЛИВО».

– Забастовщики, – пояснил Кришна и щелкнул пальцами сонному швейцару в красном жилете.

Я пожал плечами. Линия пикета перед черным фасадом отеля в полвторого ночи в залитой муссонным дождем Калькутте меня не удивила. За предыдущие полчаса ощущаемая мной реальность уже не раз теряла очертания. Какой-то гул, вроде звука скребущихся лапок бесчисленных насекомых, стоял в ушах. «Последствия перелета», – подумал я.

– Спасибо, что подвезли, – поблагодарила Амрита, когда Кришна запрыгнул обратно в автобус.

Он ответил гримасой акульского детеныша.

– Да-да. Я поговорю с вами завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Вход в отель, как оказалось, представлял собой несколько темных коридоров, которые неким защитным лабиринтом отделяли вестибюль от улицы. В самом вестибюле было довольно светло. Щеголеватый клерк выглядел отнюдь не сонным и выразил радость, увидев нас. Да, места для мистера и миссис Лузак забронированы именно здесь. Да, они получили наш телекс насчет задержки. Пожилой носильщик успел поагукать Виктории, пока мы поднимались в лифте на шестой этаж. На прощание я дал ему десять рупий.

Наш номер был таким же пещерообразным и темным, как и все остальное в этом городе, но зато сравнительно чистым, а на двери имелся массивный засов.

– О нет! – раздался из ванной голос Амриты.

Я в три прыжка оказался там, ощущая, как колотится сердце.

– Здесь нет полотенец, – сообщила Амрита. – Только салфетки.

И тут мы оба начали смеяться. Если кто-то из нас останавливался, то другой мгновенно заливался хохотом снова.

Десять минут у нас ушло, чтобы устроить на пустой кровати гнездышко для Виктории, содрать с себя пропотевшую одежду, наскоро ополоснуться и вдвоем заползти под тонкое покрывало. Кондиционер почавкивал и глухо похрипывал. Где-то рядом послышался взрывной звук спускаемой воды. Пульсирующий гул у меня в ушах был отголоском реактивных двигателей самолета.

– Сладких снов, Виктория, – сказала Амрита.

Девочка тихонько бормотала во сне.

Мы заснули через две минуты.

4

*И на большом дворе после прорыва местных барьеров Законченное
общение между людьми, приятные шатания начинаются.
Пурнendu Патри*

– В утреннем свете все выглядит гораздо лучше, – сказала Амрита.

Мы завтракали в кафе «Сад» при отеле. Виктория счастливо гукала на высоком стульчике, который принес услужливый официант. Кафе располагалось рядом с садиком во внутреннем дворе. Весело переключались рабочие на лесах.

Я пил чай, жевал горячую сдобу и читал калькуттскую газету на английском. Передовица призывала к более современной транзитной системе. В рекламных объявлениях предлагались сари и мотоциклы. Улыбающаяся индийская семья поднимала бутылки с кока-колой. Рядом на этой же странице была помещена сделанная крупным планом фотография трупа – разлагающегося, с напоминающим взорвавшуюся покрывку лицом, с выпученными остекленевшими глазами. Тело было обнаружено в невоображаемом стальном сундуке на железнодорожной станции Хоура как раз вчера – во вторник, 14 июля. Каждому, кто мог бы помочь в опознании, предлагали обратиться к инспектору полиции отделения станции Хоура и сослаться на дело № 23 от 14.7.77 u/s 302/301 I. P. C. (S. R. 39/77).

Сложив газету, я бросил ее на стол.

– Мистер Лузак? Доброе утро!

Я поднялся, чтобы пожать руку подошедшему к нам индийскому джентльмену средних лет – низенькому, светлокожему, почти лысому, в очках с толстыми стеклами в роговой оправе. На нем был безупречный тропический костюм из шерстяной ткани, а рукопожатие его отличалось деликатностью.

– Меня зовут Майкл Леонард Чаттерджи, – представился он. – Весьма приятно познакомиться с вами, мистер Лузак.

Слегка поклонившись, он взял Амриту за руку.

– Мои самые искренние извинения, за то что не встретил вас в аэропорту ночью. Мой шофер ошибочно сообщил мне, что бомбейский рейс задерживается до утра.

– Ничего страшного, – ответил я.

– Но ведь это прискорбно и негостеприимно – не встретить и не принять должным образом. Прошу у вас прощения. Мы очень рады, что вы уже здесь.

– Кто это «мы»? – спросил я.

– Присаживайтесь, прошу вас, – пригласила Амрита.

– Спасибо. Какое красивое дитя! У нее ваши глаза, миссис Лузак. А «мы» – это Союз писателей Бенгалии, мистер Лузак. Мы постоянно держим контакт с мистером Морроу, следим за его прекрасными публикациями и надеемся поделиться с вами последними работами лучшего в Бенгалии... нет, в Индии поэта.

– Значит, мистер Дас все еще жив?

Чаттерджи мягко улыбнулся.

– О, в этом нет никаких сомнений, мистер Лузак. За последние шесть месяцев мы получили от него немало писем.

– Но вы его видели? – продолжал я давить. – Вы уверены, что это мистер Дас? Почему он исчез на восемь лет? Когда я смогу с ним встретиться?

– Всему свое время, мистер Лузак, – сказал Майкл Леонард Чаттерджи. – Всему свое время. Я организовал для вас ознакомительную встречу с исполнительным комитетом нашего

Союза писателей. В два часа дня вас устроит? Или вы с миссис Лузак желаете сегодня отдохнуть и осмотреть город?

Я взглянул на Амриту. Мы уже договорились, что если мне не понадобится переводчик, то она останется с Викторией в отеле и отдохнет.

– Сегодня в два вполне устроит, – ответил я.

– Чудесно, чудесно. В половине второго я пришлю за вами машину.

Мы смотрели, как Майкл Леонард Чаттерджи покидает кафе. Позади нас рабочие на бамбуковых лесах весело перекликались со служащими отеля, проходившими по садику. Виктория громко забарабанила по столику на своем стульчике и присоединилась к общему веселью.

На площади через улицу от отеля стоял щит с рекламой Объединенного банка Индии. Картинки там не было, лишь черные буквы на белом фоне: «Калькутта: Культурная столица страны? – Символ непристойности?» Мне показался странным такой способ рекламировать банк.

Машина была небольшим черным «Премьером» с водителем в кепке и шортах цвета хаки. Мы двинулись по Чоурингхи-роуд, и, пока пробивались сквозь напряженное движение, у меня появилась возможность разглядеть Калькутту при свете дня.

Сумасшедшая круговерть вокруг производила почти потешное впечатление. Пешеходы, армады велосипедистов, восточного вида рикши, автомобили, украшенные свастиками грузовики, бесчисленные мопеды и поскрипывающие повозки, запряженные волами, – все это боролось и сражалось за нашу узенькую полосу разбитой мостовой. Свободно расхаживавшие коровы то останавливали движение, то просовывали головы в лавки, то пробирались через кучи мусора, наваленного по бордюрам или посреди проезжей части. В одном месте отбросы окаймляли улицу на протяжении трех кварталов подобием вала высотой по колено. Люди тоже ползали по этим кучам, соперничая с коровами и воронами за кусочки чего-нибудь съедобного.

Чуть дальше улицу переходили гуськом школьницы в строгих белых блузках и синих юбках, в то время как полицейский с коричневым ремнем остановил для них транспортный поток. На следующем перекрестке доминировал небольшой красный храм, стоявший точно посередине улицы. С проводов и обветшалых фасадов свисали красные флаги. И повсюду – непрерывное движение коричневокожих людей – почти приливный поток снующих, облаченных в белые и светло-коричневые одеяния местных жителей, от влажного дыхания которых, казалось, сгущается сам воздух.

Калькутта в светлое время производила сильное, пожалуй, слегка пугающее впечатление, но не вызывала того необъяснимого страха или гнева, что накануне ночью. Прикрыв глаза, я попытался проанализировать ярость, охватившую меня в автобусе, но жара и шум не позволили мне сосредоточиться. Казалось, все велосипедные звонки на свете слились с автомобильными сигналами, криками и нарастающим шепотом самого города для того, чтобы воздвигнуть стену из шума, ощущавшегося почти физически.

Союз писателей помещался в сером неуклюжем строении рядом с площадью Далхаузи. У подножия лестницы меня встретил мистер Чаттерджи и проводил на третий этаж. С закопченного потолка большой комнаты без окон на нас смотрели выцветающие фрески, а от покрытого зеленым сукном стола на меня обратили взгляды семеро людей.

Нас представили друг другу. Я и в более благоприятных условиях плохо запоминаю имена, а тут и вовсе почувствовал что-то вроде головокружения, пытаясь соотнести длинные бенгальские созвучия с коричневыми интеллигентными лицами. Единственную присутствовавшую там женщину с усталым лицом и седыми волосами, постоянно поправлявшую на плече тяжелое зеленое сари, звали, кажется, Лила Мина Басу Беллиappa.

Первые несколько минут разговора оказались нелегкими из-за разницы в произношении. Я обнаружил, что стоит расслабиться и позволить потоку напевного индийского английского

омывать меня, как смысл сказанного довольно быстро становится понятным. Прерывистый ритм их речи оказывал странно успокаивающее, почти гипнотическое воздействие. Внезапно из тени появился официант в белой куртке и подал всем выщербленные чашки, наполненные сахаром, буйволовым молоком и небольшим количеством чая. Я сидел между женщиной и директором исполнительного совета, неким мистером Гуптой – высоким человеком среднего возраста с тонкими чертами лица и грозно выступающими верхними клыками. Я невольно пожалел, что со мной нет Амриты. Ее бесстрастность послужила бы буфером между мной и этими эксцентричными незнакомцами.

– Полагаю, что мистер Лузак должен выслушать наше предложение, – неожиданно заговорил Гупта.

Остальные кивнули. Как по сигналу погас свет.

В помещении без окон наступила крошечная тьма. Из разных концов здания слышались крики, а потом принесли свечи. Перегнувшись через стол, мистер Чаттерджи заверил меня, что это самое обычное происшествие. По всей видимости, когда в каких-то частях города потребление электроэнергии превышало норму, электричество отключалось.

Темень и сияние свечей каким-то образом усиливали жару. Я почувствовал легкое головокружение и уцепился за край стола.

– Мистер Лузак, вы отдадите себе отчет в уникальности привилегии получить шедевр такого великого бенгальского поэта, как М. Дас? – Пронзительный голос мистера Гупты напоминал звук гобоя. Тяжелые ноты повисали в воздухе. – Даже мы еще не видели окончательный вариант его произведения. Надеюсь, что читатели вашего журнала по достоинству оценят оказанную им честь.

– Безусловно, – откликнулся я. С кончика носа мистера Гупты свисала капелька пота. Неверный свет свечей отбрасывал наши тени четырнадцатифутовой высоты. – А вы получали еще какие-нибудь рукописи от мистера Даса?

– Пока нет, – ответил Гупта. Его темные влажные глаза полускрывались под тяжелыми веками. – Наш комитет должен вынести окончательное решение по размещению англоязычной версии его эпического произведения.

– Я хотел бы встретиться с мистером Дасом, – сказал я.

Сидевшие за столом переглянулись.

– Это не представляется возможным.

Заговорила женщина. Ее высокий визгливый голос походил на скрежет ножовки по металлу. Раздражающие гундосые звуки никак не стыковались с ее почтенной наружностью.

– Отчего же?

– М. Дас недоступен уже много лет, – ровным голосом пояснил Гупта. – Некоторое время мы даже считали его умершим. И уже оплакали потерю национального сокровища.

– А откуда вам известно, что он жив сейчас? Его кто-нибудь видел?

Снова наступило молчание. Свечи уже наполовину сгорели и отчаянно трещали, хотя в комнате не ощущалось ни малейшего дуновения. Из-за страшной жары меня слегка подташнивало. На какое-то мгновение в голове промелькнула дикая мысль, что свечи догорят, а мы будем продолжать разговор во влажной темноте – бесплотные духи, посещающие ветхое здание во чреве мертвого города.

– У нас имеется корреспонденция, – ответил наконец Майкл Леонард Чаттерджи. Он извлек из портфеля с полдюжины хрустящих конвертов. – Она подтверждает с несомненной убедительностью, что наш друг все еще живет среди нас.

Чаттерджи послуныл пальцы и пролистал плотную пачку тонкой почтовой бумаги. При тусклом освещении строки индийских букв напоминали магические руны, какие-то зловещие заклятия.

В доказательство своих слов мистер Чаттерджи зачитал вслух несколько выдержек. Там спрашивалось о родственниках, упоминались общие знакомые. Был и вопрос к мистеру Гупте по поводу короткого стихотворения Даса, оплаченного много лет назад, но так и не опубликованного.

– Хорошо, – сказал я. – Но для моей статьи очень важно, чтобы я лично увидел мистера Даса и смог бы...

– Прошу прощения, – перебил меня мистер Чаттерджи, подняв руку. В стеклах его очков, в той точке, которая находилась напротив зрачков, отражались двойные огоньки. – Надеюсь, следующие строки объяснят, почему это невозможно.

Он сложил листок, прокашлялся и стал читать:

– «...Итак, сами видите, друг мой, меняется все, но не люди. Я вспоминаю один день в июле 1969 года.

Это было во время праздника Шивы. В “Таймс” сообщили, что люди оставили следы на Луне. Я возвращался из деревни моего отца: это место, где люди вот уже пять тысяч лет оставляют следы на земле за своими рабочими быками. В деревнях, мимо которых проезжал наш поезд, крестьяне выбивались из сил, протаскивая через грязь свои священные колесницы.

На обратном пути в наш возлюбленный город посреди шумной толпы меня все время терзала мысль о том, какой пустой и тщетной была вся моя жизнь. Отец мой прожил долгую и полезную жизнь. Каждый житель его деревни – будь то брахман или харьян – пожелал присутствовать при его сожжении. Я проходил через поля, которые мой отец орошал, возделывал, отвоевывал у капризной природы задолго до моего рождения. После похорон я оставил братьев и удалился под сень огромного баньяна, посаженного отцом еще в юности. Повсюду вокруг меня были свидетельства трудов моего отца. Казалось, сама земля скорбит о его кончине.

А что, спрашивал я себя, сделал я? Через несколько недель мне исполнится пятьдесят четыре года, а во имя чего я прожил свою жизнь? Написал несколько стихотворений, радовал своих коллег и раздражал некоторых критиков. Я соткал паутину иллюзий, убедив себя в том, что продолжаю традиции нашего великого Тагора. Но впоследствии сам запутался в собственной паутине обмана.

К тому времени, когда мы достигли станции Хоура, я уже увидел всю пустоту своей жизни и творчества. Более тридцати лет я жил и работал в нашем возлюбленном городе – сердце и драгоценном камне Бенгалии, – и никогда мои жалкие труды не выражали, более того, даже не содержали намека на сущность этого города. Я пытался определить душу Бенгалии, описывая ее самые поверхностные черты, пришельцев из других краев и ее наименее честное лицо. Как если бы я попытался описать душу красивой и одаренной женщины, перечисляя детали ее одежды, взятых напрокат.

Ганди однажды сказал: “Человек не может жить полноценно, если он не умирает хотя бы раз”. Покидая свой вагон первого класса на станции Хоура, я уже осознал неопровержимость этой великой истины. Чтобы жить – в своей душе, в своем искусстве, – я должен избавиться от всего принадлежащего моей старой жизни.

Я отдал оба своих чемодана первому попавшемуся нищему. Мне до сих пор приятно вспоминать его изумленный вид. Не имею ни малейшего представления, что он сделал потом с льняными рубашками, парижскими галстуками и множеством взятых мною книг.

По мосту Хоура вошел я в город, зная лишь одно: я умер для своей старой жизни, умер для своего старого дома и прежних привычек и, конечно, умер для всех, кого любил. Лишь заново войдя в Калькутту – как около тридцати трех лет назад вошел я в нее исполненным надежд, заикающимся юношей из небольшой деревушки, – смогу я увидеть незамутненным взглядом, что мне требуется для итоговой работы.

И именно этой работе... моей первой истинной попытке рассказать историю о городе, питающем нас... посвятил я жизнь. С того дня в течение многих лет новая жизнь приводила

меня в места, о существовании которых в моем возлюбленном городе – городе, который я по глупости своей считал очень близко мне знакомым, – я даже не подозревал.

Это заставило меня искать путь среди заблудившихся, владеть только тем, от чего отказались неимущие, трудиться с неприкасаемыми, набираться мудрости у дураков из парка Керзон, а добродетели – у проституток с Саддер-стрит. И потому мне пришлось признать присутствие тех темных богов, что держали в своих руках это место еще до того, как родились сами боги. Найдя *их*, я обрел самого себя.

Прошу вас, не пытайтесь встретиться со мной. Вы не найдете меня, если станете искать. Вы не узнаете меня, если найдете.

Друзья мои, поручаю вам выполнить мои инструкции, относящиеся к этой последней работе. Поэма пока не закончена. Предстоит еще большая работа. Но времени становится все меньше. Мне хочется, чтобы уже имеющиеся фрагменты были распространены как можно шире. Реакция критиков не имеет *никакого* значения. Авансы и авторские права тоже не важны. Это *должно* быть опубликовано.

Отвечайте по обычным каналам».

Чаттерджи замолчал, и в воцарившейся тишине слышалось лишь далекое многоголосие улицы. Мистер Гупта кашлянул и задал вопрос об авторских правах в Америке. Я разъяснил, как мог, и условия «Харперс», и гораздо более скромные предложения «Других голосов». Последовала череда реплик и вопросов. Свечи уже почти догорели.

Наконец Гупта обратился к остальным и скороговоркой произнес что-то по-бенгальски. И снова я пожалел, что со мной нет Амриты.

Майкл Леонард Чаттерджи повернулся в мою сторону:

– Будьте любезны, подождите немного в холле, мистер Лузак, пока совет проголосует по вопросу публикации рукописи М. Даса.

Поднявшись на затекших ногах, я проследовал за слугой со свечой. На площадке имелись стул и круглый столик, на который и поставили ту свечу. По лестничному колодцу поднимался слабый свет от матовых окон, выходивших на площадь Далхаузи, но от этого тусклого света углы лестничной площадки и прилегающие к ней коридоры казались погруженными в еще более густой мрак.

Я присидел около десяти минут и чуть не задремал, но вдруг заметил какое-то шевеление в тени. У самого круга света что-то крадучись передвигалось. Я поднял свечу и увидел неподвижно застывшую крысу размером с небольшого терьера. Она остановилась на краю площадки, смачно постукивая хвостом по доскам. От границы между светом и тенью на меня смотрели зловеще мерцающие глазки. Крыса продвинулась на полшага, и меня охватил озноб отвращения. Своими повадками это существо больше всего напоминало кошку, крадущуюся за добычей. Я вскочил и схватился за хлипкий стул, приготовившись швырнуть его.

Неожиданный громкий звук за спиной заставил меня буквально подпрыгнуть на месте. Тень крысы слилась с тьмой коридора, и там послышался звук множества когтей, скребущих по дереву. Из черного проема двери, ведущей в комнату, где заседал совет, появились мистер Чаттерджи и мистер Гупта. Язычки пламени свечей отражались в стеклах очков мистера Чаттерджи. Мистер Гупта шагнул в круг дрожащего света. Его напряженная улыбка обнажала длинные желтые зубы.

– Решение принято, – сказал он. – Рукопись вы получите завтра. О деталях вам сообщат дополнительно.

5

*Нет мира в Калькутте;
Кровь зовет в полночь...
Суканта Бхаттачарджи*

Слишком просто. Такая мысль пришла мне в голову на обратном пути в отель. До приезда сюда я воображал себя пытливым журналистом в полупальто – это в такую-то жару! – тщательно выискивающим улики, чтобы собрать воедино картину таинственного исчезновения и появления бенгальского поэта-призрака. И вот загадка разрешена в первый же день моего пребывания в городе. Завтра, в субботу, я получу рукопись и смогу улететь домой вместе с Амритой и ребенком. Разве на таком материале можно сделать какую-нибудь статью? Слишком просто.

Организм настойчиво утверждал, что сейчас раннее утро, но наручные часы показывали пять часов пополудни. Из носящих явные следы времени зданий офисов по соседству с отелем выходили служащие – они напоминали белых муравьев, выбирающихся из серых каменных остовов. На разбитых тротуарах целые семейства кипятили воду для чая, а мужчины с кейсами перешагивали через спящих детей. Человек в лохмотьях присел в сточной канаве помочиться, а не далее чем в шести футах от него другой в это время купался в луже. Я протиснулся через пикет коммунистов и вошел в охлаждаемое кондиционерами святилище отеля.

В вестибюле меня ожидал Кришна. Администратор наблюдал за ним с таким видом, будто Кришна был известным террористом. Неудивительно. Вид у него был еще более дикий, чем раньше: черные волосы торчали как наэлектризованные восклицательные знаки, а глаза, напоминающие жабы, округлились и побелели под темными бровями еще больше, чем обычно. Завидев меня, он широко ухмыльнулся и с протянутой рукой пошел мне навстречу. Я ответил на рукопожатие, и только потом до меня дошло, что этим сердечным приветствием Кришна продемонстрировал администратору правомочность своего присутствия.

– А, мистер Лузак! Очень приятно снова вас увидеть! Я пришел, чтобы помочь вам в поисках поэта М. Даса.

Он продолжал трясти мою руку. На нем была та же засаленная рубашка, что и накануне ночью, и несло от него резким одеколоном и потным телом. Я же ощущал, что благодаря мощному кондиционированию пот на моей коже начинает подсыхать, уступая место мурашкам.

– Спасибо, мистер Кришна, но в этом нет необходимости. – Я отнял свою руку. – Я уже обо всем договорился и завтра закончу здесь все свои дела.

Кришна застыл как вкопанный. Улыбка на его лице угасла, а брови еще ближе сошлись над крупным кривым носом.

– Ага, понимаю. Вы побывали в Союзе писателей. Верно?

– Да.

– Да-да, конечно. Они, вероятно, поведали вам очень убедительную историю о нашем прославленном М. Дасе. Вас удовлетворила эта история, мистер Лузак?

Последнюю фразу Кришна произнес почти шепотом, а вид у него при этом был настолько заговорщицкий, что администратор в другом конце вестибюля нахмурился. Одному Богу известно, что он подумал насчет высказанного мне предложения.

Я колебался, ибо не знал, какое отношение имеет ко всему этому Кришна, и не хотел тратить время на выяснения. В душе я обложил Эйба Бронштейна последними словами за то, что он сунулся в мои приготовления и невольно свел меня с этим слизняком. В это же время я остро осознавал, что меня ждут Амрита и Виктория, и ощущал раздражение из-за того, что дело приняло столь неожиданный оборот.

Кришна, расценивший мои колебания как неуверенность, подался вперед и схватил меня за предплечье.

– У меня есть один человек, с которым вы должны встретиться, мистер Лузак. Один человек, который расскажет вам правду про М. Даса.

– Что вы подразумеваете под правдой? Кто этот человек?

– Я предпочел бы не говорить, – прошептал Кришна. Ладони у него были влажными. В глазах проступали тоненькие желтые прожилки. – Вы поймете, когда услышите его рассказ.

– Когда? – отрывисто спросил я. Лишь чувство незавершенности, которое я ощутил в машине, удержало меня от того, чтобы послать Кришну ко всем чертям.

– Немедленно! – ответил Кришна с торжествующей ухмылкой. – Мы можем встретиться с ним сейчас же!

– Невозможно. – Я резко вырвал руку. – Я поднимаюсь наверх. Приму душ. Я обещал жене, что мы поужинаем вместе.

– Да-да. – Кришна кивнул и втянул воздух через нижние зубы. – Конечно. Тогда я договорюсь на девять тридцать. Это вас устроит?

Я колебался.

– Ваш друг хочет получить плату за информацию?

– О, нет-нет! – Кришна поднял ладони. – Он себе такого не позволит. Лишь с большим трудом мне удалось убедить его с кем-то поговорить об этом.

– В девять тридцать? – переспросил я. Мысль о том, что придется выходить на улицы Калькутты вечером, вызывала у меня легкую тошноту.

– Да. Кофейня закрывается в одиннадцать. Мы встретимся с ним там.

Кофейня. В этом слове было нечто безобидно знакомое. А что, если вдруг обнаружится какая-нибудь изюминка, которой я смог бы одобрит статью?..

– Хорошо, – сказал я.

– Я буду ждать вас здесь, мистер Лузак.

Женщина, державшая моего ребенка, не была Амритой. Я застыл, вцепившись в дверную ручку. Так бы я и стоял или даже вышел бы в замешательстве обратно в коридор, не появившись в этот момент из ванной Амрита.

– Ой, Бобби, это Камахья Бхарати. Камахья, это мой муж, Роберт Лузак.

– Очень приятно познакомиться с вами, мистер Лузак.

Ее голос звучал дуновением ветерка по весенним цветам.

– Рад познакомиться с вами, мисс... э-э-э... Бхарати.

Я тупо заморгал и посмотрел на Амриту. Я всегда считал, что красота Амриты, с ее бесхитростными глазами и правильными чертами лица, близка к совершенству, но сейчас рядом с этой юной женщиной я отчетливо увидел признаки надвигающейся зрелости на теле Амриты, намечающийся двойной подбородок и шишечку у нее на переносице. Остаточное изображение молодой красавицы запечатлелось на сетчатке моих глаз, как оптическое эхо электрической лампочки.

Ее черные как смоль волосы опускались до плеч. Лицо имело форму вытянутого овала с безупречными чертами, среди которых особенно выделялись нежные, слегка подрагивающие губы, созданные, казалось, для смеха и высших проявлений чувственности. Глаза у нее были потрясающие: невероятно большие, подчеркнутые тенями и тяжелыми ресницами, с такими черными, бездонными зрачками, что взгляд ее пронзал подобно темным звездам. В них явственно ощущалось что-то неуловимо восточное, и в то же время безошибочно угадывалась присущая Западу почти подсознательная внутренняя борьба бесплотного и земного.

Камахья Бхарати выглядела молодо – не старше двадцати пяти, – и шелковое сари на ней выглядело таким легким, что создавалось впечатление, будто оно парит в дюйме над ее телом,

поддерживаемое неким неуловимым импульсом женственности, исходившим от нее подобно благоухающему ветерку.

Слово «сладострастие» у меня всегда отождествлялось с рубенсовскими формами, масляной соблазнительной плоти, но почти видимое под колыхающимися слоями шелка тонкое тело этой женщины окатило меня такой волной сладострастия, что во рту пересохло, а из головы вылетели все мысли.

– Камахья – племянница М. Даса, Бобби. Она пришла узнать насчет твоей статьи, и мы проговорили с ней целый час.

– Что?

Я посмотрел на Амриту, а затем снова перевел взгляд на девушку. Больше я не нашел что сказать.

– Да, мистер Лузак. До меня дошли слухи, что мой дядя общался с некоторыми из своих прежних коллег. Мне захотелось узнать, не видели ли вы моего дядю... все ли с ним в порядке...

Она опустила взгляд и замолчала.

Я присел на край кресла.

– Нет, – ответил я, – то есть... я его не видел, но с ним все в порядке. Мне бы тоже хотелось встретиться с ним. Я собираюсь написать статью...

– Понимаю. – Камахья Бхарати улыбнулась и усадила Викторию на середину кровати, где лежали ее одеяло и медвежонок Винни-Пух. Изящные коричневые пальцы провели по щечке ребенка ласковым жестом. – Больше не стану вас беспокоить. Я только хотела узнать о здоровье дяди.

– Конечно! – кивнул я. – Очень хорошо. Думаю, нам стоит с вами поговорить, мисс Бхарати. Дело в том, что, если вы хорошо знали вашего дядю... это помогло бы мне в работе над статьей. Если вы можете задержаться на несколько минут...

– Я должна идти. Необходимо быть дома к приходу отца.

Улыбнувшись, она обратилась к Амрите:

– Возможно, мы сможем поговорить, когда встретимся завтра, как условились.

– Чудесно! – ответила Амрита.

После Лондона я впервые увидел ее в таком расслабленном состоянии. Она повернулась ко мне:

– Камахья знает хорошего торговца сари неподалеку отсюда, возле кинотеатра «Элита». Мне очень хотелось бы купить немного ткани, пока мы здесь. И если завтра я тебе не нужна, Бобби...

– М-м-м, трудно сказать, – ответил я. – Ладно, планируй сама. Я еще не знаю, на сколько мне завтра назначат встречу.

– Тогда я позвоню вам утром, – пообещала Камахья Бхарати.

Девушка улыбнулась Амрите, и я почувствовал укол ревности из-за того, что эта милость дарована не мне. Она встала и подала Амрите руку, одновременно поправив сари грациозным движением, столь характерным для индийских женщин.

– Прекрасно, – сказала Амрита.

Камахья Бхарати слегка поклонилась мне и направилась к двери. Я кивнул в ответ, и она вышла. В воздухе остался легкий, дразнящий аромат.

– Боже милостивый! – произнес я.

– Расслабься, Роберт. – В безупречном британском произношении Амриты угадывались веселые нотки. – Ей всего двадцать два года, но она уже одиннадцать лет помолвлена. В октябре она выходит замуж.

– Ужасная потеря, – вздохнул я, падая на кровать рядом с ребенком.

Виктория повернула ко мне голову и замахала ручонками, готовая начать игру. Я подбросил ее вверх. Малышка издавала довольные звуки и болтала ножками.

– Девушка действительно племянница Даса?

– Она помогала ему с рукописями. Точила карандаши, ходила для него в библиотеку. Так она говорит, по крайней мере.

– Да? Ей было, должно быть, лет десять.

Виктория взвизгнула, когда я качнул ее, перевернул и качнул в обратную сторону.

– Ей было тринадцать, когда Дас исчез. Между братьями, очевидно, случилась размолвка незадолго до смерти их отца.

– Их отца? А разве у Даса...

– Да. В любом случае его имя много лет не упоминалось в этой семье. У меня создалось впечатление, что она слишком застенчива, чтобы связаться с Чаттерджи или Союзом писателей.

– Но на нас она вышла.

– Это другое, – сказала Амрита. – Мы иностранцы. Мы не в счет. Мы все-таки будем ужинать?

Я опустил Викторию к себе на живот. Личико у нее покраснело от удовольствия, а теперь она решала, плакать или не плакать. Упершись коленками в мой живот, она начала елозить у меня на груди. Пухленькая ручонка мертвой хваткой вцепилась в воротник моей рубашки.

– Где поедим? – спросил я, рассказав Амрите о назначенной на девять тридцать встрече с Таинственным Незнакомцем Кришны. – Сейчас уже поздновато выходить в город. Закажем в номер или спустимся в «Комнату Принца»? Я слышал, там выступает Фатима – экзотическая танцовщица.

– Виктория наверняка будет шуметь. – Амрита слегка пожала плечами. – Но мне кажется, что Фатиму она предпочтет ужину в номере.

– Согласен, – кивнул я.

– Я буду готова через минуту.

Экзотическая танцовщица Фатима оказалась полноватой индианкой средних лет, танец которой не боясь скандала вполне могли смотреть бойскауты из младшей эксетерской дружины. Тем не менее толпа состояла из тучных парочек, преимущественно мужских, среднего возраста и должным образом возбужденных ее выступлением. На Викторию же танец впечатления не произвел. Она расплакалась, и нам троим пришлось ретироваться посреди второго сеанса вращений Фатимы.

Вместо того чтобы вернуться в номер, мы с Амритой прошли по неосвещенному дворику отеля. Почти весь вечер шел дождь, но сейчас в просветах между зеленовато-желтыми облаками мы уже могли разглядеть несколько звезд. Большинство выходящих во двор окон было задернуто тяжелыми шторами, и виднелось лишь несколько тонких полосок света. Мы по очереди несли хныкающую Викторию, пока всхлипы не стали реже, а потом и вовсе прекратились. Остановившись у бассейна, мы присели на низенькую скамеечку рядом с темным кафе. Отсветы от подводных прожекторов плясали по густой листве и опущенным бамбуковым шторам. Я заметил темное пятно на воде в мелкой части бассейна и, приглядевшись, обнаружил, что это утонувшая крыса.

– Виктория уснула, – сказала Амрита.

Бросив взгляд на дочь, я увидел сжатые кулачки и закрытые глаза. Такой умиротворенный вид обычно бывает у детей, уснувших после надрывного плача.

Вытянув ноги, я откинул голову назад и только сейчас осознал, до какой степени устал. Возможно, все еще сказывались последствия перелета. Я выпрямился и посмотрел на Амриту.

Она легонько покачивала ребенка, а у нее самой взгляд стал отсутствующим и задумчивым, как это часто бывало, когда она работала над какой-нибудь сложной математической проблемой.

– Ну, каковы ощущения? – поинтересовался я.

Амрита перевела на меня взгляд и заморгала.

– Что, Бобби?

– Каково возвращаться в Индию?

Она потрепала хохолок на головке Виктории и передала ее мне. Я пристроил ребенка на сгибе локтя и стал смотреть, как Амрита подходит к краю бассейна и разглаживает свою светло-коричневую юбку. Свет от бассейна освещал снизу ее острые скулы. «Моя жена красавица», – подумал я уже, наверное, в тысячный раз после нашей свадьбы.

– Ощущение сродни *deja vu*, – ответила она очень тихо. – Нет, не совсем верное выражение. Скорее, это напоминает повторение уже не раз виденного сна. Жара, шум, язык, запах – все знакомое и одновременно чужое.

– Извини, если расстроил.

Амрита покачала головой.

– Нет, Бобби, это меня не расстраивает. Это *пугает* меня, но не расстраивает. Я нахожу это очень соблазнительным.

– Соблазнительным? – Я уставился на нее. – Что же, скажи ради бога, мы увидели здесь такого соблазнительного?

Не в привычках Амриты было бездумно бросаться словами. Она часто выражала свои мысли гораздо точнее, чем я.

Она улыбнулась.

– Ты хочешь сказать, не считая Камахьи Бхарати?

Она сбросила босоножку и побултыхала ногой в воде. Утонувшая в другом конце бассейна крыса отсюда видна не была.

– Серьезно, Бобби, все это кажется мне каким-то странным образом соблазнительным. Как если бы все эти годы я использовала лишь часть своего рассудка, а теперь вступает в действие другая его часть.

– Тебе хотелось бы остаться здесь подольше? – спросил я. – Я имею в виду, когда все дела будут закончены...

Я смешался.

– Нет, – сказала Амрита, и ее голос не оставлял сомнений в окончательности ответа.

Я покачал головой.

– Извини, что оставил тебя одну после обеда и согласился на эту встречу вечером. Думаю, что мы неправильно сделали, приехав сюда втроем. Я недооценил, насколько трудно тебе будет с Викторией.

Откуда-то сверху послышалась серия резких приказаний на языке, напоминавшем арабский, после чего последовал поток носового бенгальского. Хлопнула дверь.

Амрита снова подошла ко мне и села рядом. Она взяла Викторию и положила ее к себе на колени.

– Ничего, Бобби. Я знала, как все это будет. Подозревала, что, скорее всего, не понадобится тебе в качестве переводчика, пока ты не получишь рукопись.

– Извини, – повторил я.

Амрита снова посмотрела на бассейн.

– Когда мне было семь лет, – сказала она, – летом, накануне переезда в Лондон, я видела призрака.

Я посмотрел на нее. Большого удивления или недоверия я не испытал бы, если бы Амрита сообщила мне, что влюбилась в немолодого посыльного и собирается от меня уходить. Амрита была – по крайней мере до настоящего момента – наиболее рациональным человеком из всех,

кого я знал. Ее интерес к сверхъестественному и вера в потустороннее до сих пор никак не проявлялись. Мне никогда не удавалось заинтересовать ее даже дрянными романами Стивена Кинга, которые я каждое лето таскал с собой на пляж.

– Призрака? – только и смог выговорить я наконец.

– Мы ехали поездом из дома в Нью-Дели к нашему дяде в Бомбей, – заговорила Амрита. – Ежегодная поездка с сестрами и матерью в Бомбей в июле всегда была волнующей. Но в том году заболела моя сестра Сантха. Мы сошли с поезда к западу от Бхопала и два дня прожили в железнодорожной гостинице, пока местный врач лечил ее.

– С ней ничего не случилось? – спросил я.

– Нет, у нее была всего лишь корь, – ответила Амрита. – Но я оставалась единственной, кто еще не болел корью, поэтому спала не в номере, а на маленьком балкончике, выходившем на лес. Пройти на балкон можно было только через ту комнату, где спали мои сестры и мать. Сезон дождей в то лето еще не наступил, и было очень жарко.

– И ты увидела призрака?

Амрита слегка улыбнулась.

– Я проснулась среди ночи от звука плача. Сначала я решила, что плачет мать или сестра, но потом увидела пожилую женщину в сари, которая сидела на краю моей кровати и всхлипывала. Помню, страха я не ощутила – лишь удивилась, как это моя мать позволила чужой женщине пройти через комнату и устроиться на балконе рядом со мной.

Ее плач был очень тихим, но почему-то чрезвычайно пугающим. Я протянула руку, чтобы утешить ее, но не успела я прикоснуться к ней, как она перестала плакать и посмотрела на меня. Оказалось, что она не такая уж и старая, просто ее состарило какое-то ужасное горе.

– А что потом? – не выдержал я. – Откуда ты узнала, что это призрак? Она растаяла, ушла по воздуху, превратилась в кучу грязи и тряпья – или что?

Амрита покачала головой.

– Луна на несколько секунд скрылась за облаками, а когда снова стало светло, этой женщины уже не было. Я закричала, мать и сестры выбежали на балкон и заверили меня, что никто не проходил через комнату.

– Гм, – пробормотал я. – Звучит не слишком убедительно. Тебе было семь лет, и ты, наверное, спала. А даже если и не спала, то откуда ты знаешь, что это не была какая-нибудь горничная, взобравшаяся по пожарной лестнице, или еще кто-нибудь в этом роде?

Амрита взяла Викторию на руки и прислонила головкой к плечу.

– Согласна, что это не самая страшная история про призраков. Но она напугала меня на многие годы. Видишь ли, прямо перед тем, как луна скрылась, я посмотрела прямо в лицо этой женщине и очень хорошо знала, кто она такая.

Амрита хлопала девочку по спинке и посмотрела на меня.

– Это была я.

– Ты?

– Тогда я и решила, что хочу жить в стране, где я не увижу призраков.

– Неприятно тебе об этом говорить, маленькая, – сказал я, – но Великобритания и Новая Англия по привидениям занимают не последнее место.

– Возможно. – Амрита поднялась, крепко прижимая к себе Викторию. – Но я их не вижу.

В девять тридцать я сидел в вестибюле, мучаясь все нарастающей головной болью, вызванной жарой и усталостью, испытывая тошноту из-за чрезмерного количества выпитого за ужином плохого вина и перебирая разнообразные отговорки для Кришны, когда тот появится. К девяти пятидесяти я решил сказать ему, что заболела Амрита или Виктория. В десять я понял, что мне уже ничего не придется говорить, и поднялся, чтобы пойти наверх, но тут внезапно появился он, расстроенный и возбужденный. Глаза у него покраснели и опухли, будто

он плакал. Он подошел и пожал мне руку с таким мрачным видом, словно вестибюль был траурным залом, а я потерял ближайшего родственника.

– Что случилось? – спросил я.

– Очень, очень прискорбно, – сказал он. Его высокий голос пресекся. – Очень страшная новость.

– Что-то с вашим другом? – спросил я, ощутив облегчение при неожиданной мысли о том, что его таинственный информатор сломал ногу, попал под троллейбус или лежит с инфарктом.

– Нет-нет. Вы, должно быть, уже знаете. Мистер Набоков скончался. Великая трагедия.

– Кто? – Из-за его акцента мне послышалось очередное дребезжащее бенгальское имя.

– Набоков! Набоков! Владимир Набоков! «Бледный огонь». «Ада». Величайший стилист среди прозаиков, пишущих на вашем родном языке. Огромная потеря для всех нас. Всех деятелей литературы.

– О-о-о, – только и протянул я.

Я так и не собрался прочитать «Лолиту». А когда я вспомнил, что решил не идти с Кришной, мы уже оказались на улице, во влажной темноте, и он вел меня к коляске, в которой на красном сиденье подремывал тощий, иссохший рикша. При мысли о том, что меня потащит по грязным улицам это человекообразное чучело, внутри меня все запротестовало.

– Давайте возьмем такси, – предложил я.

– Нет-нет. Он прислан за нами. Поездка короткая. Наш друг ждет.

Сиденье отсырело от вечернего дождя, но неудобным назвать его было нельзя. Человек соскочил с коляски, шлепнув босыми ногами, ухватился за оглобли, сноровисто подпрыгнул в воздух и опустился, держа руки прямо, со знанием дела уравновесив нашу тяжесть.

У коляски не было габаритных огней, за исключением керосинового фонаря, висевшего на железном крюке. Не слишком успокаивало меня и то, что машины, которые, сигналив, объезжали нас, тоже ехали без габаритов. Трамваи еще ходили, и в нездоровой, желтой пелене освещения салонов виднелись потные лица, теснившиеся за окнами, забранными проволоочной сеткой. Несмотря на поздний час, весь общественный транспорт был заполнен: автобусы кренились под тяжестью висевших на зарешеченных окнах и наружных поручнях людей, а из черных вагонов проезжавших поездов торчали бесчисленные головы и туловища.

Улицы практически не освещались, но переулки и мелькающие дворы флуоресцировали тем бледным, гнилым светом, который я заметил еще из самолета. Темнота не приносила никакого облегчения от жары. Напротив, сейчас, казалось, было даже жарче, чем днем. Тяжелые тучи нависали прямо над зданиями, и их сырая масса словно отражала уличное тепло прямо на нас.

Меня вновь охватывала тревога, однако природу этого напряжения я объяснить не мог. Оно почти не имело отношения к ощущению физической опасности, хотя я чувствовал себя нелепым образом беззащитным, когда наша повозка дребезжала по незакрепленным камням мостовой, кучам мусора и трамвайным рельсам. Я вспомнил, что у меня в бумажнике еще оставались дорожные чеки долларов на двести. Но не в этом состояла истинная причина моей нервозности, желчью подступавшей к горлу.

Было нечто в самой калькуттской ночи, что напрямую воздействовало на самые темные закоулки моего рассудка. Короткие приступы почти детского страха когтями вцеплялись в мое сознание, но тут же подавлялись рассудком взрослого человека. Ночные звуки – отдаленные крики, шипящее царапанье, случайные обрывки приглушенных разговоров, когда мы проезжали мимо закутанных фигур, – сами по себе не несли никакой угрозы, но все эти звуки, невольно привлекающие внимание, оказывали то же переворачивающее все внутренности воздействие, что и звук чьего-то дыхания рядом с твоей постелью глубокой ночью.

– Каликсетра, – произнес Кришна.

Голос его прозвучал тихо, почти неслышно за тяжелым дыханием рикши и шлепаньем его босых подошв по мостовой.

– Простите?

– Каликсетра. Это означает «место Кали». Вы, конечно, знали, что именно отсюда пошло имя нашего города?

– Э-э-э... нет. Хотя... может быть, и знал. Должно быть, забыл.

Кришна повернулся ко мне. В темноте я не мог достаточно хорошо разглядеть его лицо, но ощущал тяжесть его взгляда.

– Вы должны это знать, – ровно сказал он. – Каликсетра стала деревней Каликата. Каликата была местом великого Калигхат, самого священного из храмов Кали. Он до сих пор стоит. Меньше чем в двух милях от вашего отеля. Вы наверняка должны это знать.

– Гм-м, – произнес я.

Из-за угла на скорости выскочил трамвай. Наш рикша внезапно резко свернул с рельсов, чудом избежав столкновения с вагоном. По широкой пустынной улице вслед нам понеслись сердитые крики.

– Кали была богиней, если не ошибаюсь? – сказал я. – Одной из супруг Шивы?

Несмотря на весь мой интерес к Тагору, прошло немало лет с тех пор, как я читал что-либо из вед.

Кришна издал какой-то непонятный звук. Поначалу я решил, что был взрыв насмешливого хохота, но, обернувшись, увидел, что, зажав одну ноздрю пальцем, он шумно сморкается в левую руку.

– Да-да, – подтвердил он. – Кали – священная сакти Шивы. – Кришна изучил содержимое ладони, почти удовлетворенно кивнул и потряс пальцами за боковиной повозки. – Вы, конечно, представляете себе ее внешность?

От одного из темных, полуразвалившихся домов, мимо которых мы проезжали, донеслись вопли нескольких ссорившихся женщин.

– Ее внешность? Кажется, нет. Она... статуи... у них по четыре руки, верно?

Я огляделся вокруг, пытаюсь определить, насколько мы близки к месту назначения. Здесь было мало лавок. Мне с трудом верилось, что среди этих развалин может оказаться кофейня.

– Конечно! Конечно! Она – *богиня*. Общеизвестно, что у нее четыре руки! Вы должны посмотреть большого идола в Калигхат. Это «жаграта», «очень бдительная» Кали. Очень страшная. Восхитительно страшная, мистер Лузак. Ее руки изображают *abhaya* и *vara mudras* – избавляющие от страха и дарящие благоденствие мудры. Но очень страшная. Очень высокая. Очень худая. У нее раскрыт рот. У нее длинный язык. У нее два... как это... зубы у вампира?

– Клыки?

Я схватился за мокрый тент над сиденьем и попытался понять, к чему ведет Кришна. Мы повернули на еще более темную, узкую улицу.

– Ах да, да. Она единственная из богов покорила время. Она, естественно, пожирает всех живых существ. *Puṇyam, asv'am, gām, avim, ajam*. Она не одета. Ее прекрасные ноги попирают труп. В руках у нее *pāśā...* аркан, *khatvāṅga...* как это?.. Палка, нет, шест с черепом, *khadga...* меч и отрубленная голова.

– Отрубленная голова?

– Конечно, вы должны это знать.

– Послушайте, Кришна, черт возьми, что все это...

– Ага, приехали, мистер Лузак. Сходите. Быстрее, пожалуйста. Мы опаздываем. Кофейня закрывается в одиннадцать.

Небольшая улица – точнее, переулок – была залита нечистотами и дождевой водой. Не было ни малейшего признака какой-нибудь лавки, не то что кофейни. Стены домов тонули во

тьме, если не считать тусклого отблеска фонаря, горевшего в одном из окон наверху. Рикша опустил оглобли и раскуривал маленькую трубочку. Я остался сидеть.

– Быстрее, пожалуйста, – повторил Кришна и щелкнул пальцами. Такой жест я видел, когда он общался с носильщиками. Он остановился над спавшим на тротуаре человеком и открыл дверь, которую я не заметил. Одинокaя лампочка освещала крутую узкую лестницу. Сверху до нас донеслись приглушенные звуки разговора.

Я спрыгнул и ступил за ним в пятно света. Еще одна дверь на площадке второго этажа вела в широкий коридор.

– Вы видели университет дальше по улице? – спросил Кришна через плечо.

Я кивнул, хотя не заметил ни одного здания, более внушительного, чем универмаг.

– Это, конечно, университетская кофейня. Нет, неправильно. Кофейный домик. Точно как в Гринвич-Виллидж. Да.

Кришна повернул налево и провел меня в комнату, очень похожую на пещеру. Высокий потолок, тяжелые колонны и глухие стены напомнили мне один гараж возле Чикаго-Луп. При тусклом свете виднелось не меньше пятидесяти-шестидесяти столиков, но лишь немногие из них были заняты. В нескольких местах за грубыми, выкрашенными в темно-зеленый цвет столиками группками сидели серьезного вида юноши в свободных белых рубашках. С двадцатифутового потолка свисали медленно вращающиеся вентиляторы; ощутимого движения воздуха не наблюдалось, но, несмотря на это, немногочисленные, редко расположенные лампочки слегка мигали, придавая всей сцене характер кадров из немого фильма.

– Кофейный домик, – тупо повторил я.

– Пройдите сюда.

Мимо плотно составленных столиков Кришна провел меня в самый дальний угол. На закрепленной в стене скамье сидел молодой человек лет двадцати. Когда мы приблизились, он поднялся.

– Мистер Лузак, это Джайяпракеш Муктанандаджи, – представил его Кришна и добавил что-то по-бенгальски, обращаясь уже к юноше. Глубокие тени не позволяли мне отчетливо разглядеть черты лица молодого человека, но в момент влажного, неуверенного рукопожатия я отметил худощавое лицо, очки с толстыми стеклами и такие прыщи, что гнойнички едва ли не светились.

Мы молча постояли. Молодой человек потер руки и украдкой взглянул на студентов за другими столиками. Некоторые из них обернулись при нашем появлении, но сейчас уже никто не смотрел в нашу сторону.

Как только мы уселись, старик с седой щетиной на щеках и подбородке принес кофе. Чашки были сильно выщерблены и покрыты трещинами, бледными разветвлениями, расходившимися по эмали. Кофе оказался крепким и на удивление неплохим, если не считать добавленной в него изрядной дозы сахара и свернувшегося молока. И Кришна, и Муктанандаджи смотрели на меня, пока старик безмолвно стоял у столика, и я, покопавшись в бумажнике, извлек оттуда банкноту в пять рупий. Старик повернулся и ушел, даже не подумав дать сдачу.

– Мистер Муктанандаджи, – заговорил я, гордый тем, что сумел запомнить его имя, – вы располагаете какой-то информацией о калькуттском поэте М. Дасе?

Склонив голову, юноша сказал что-то Кришне. Кришна резко ответил и обратился ко мне, сверкнув острозубой улыбкой:

– Мистер Муктанандаджи, к моему сожалению, не говорит так бегло по-английски. На самом деле он вообще не говорит по-английски. Он попросил меня переводить для него. Если вы готовы, мистер Лузак, он теперь расскажет вам свою историю.

– Я думал, что это будет интервью, – заметил я.

Кришна выставил перед собой правую ладонь.

– Да-да. Вы должны понимать, мистер Лузак, что мистер Джайяпракеш Муктанандаджи разговаривает с вами лишь в качестве личного одолжения мне, его бывшему преподавателю. Он делает это с большой неохотой. Если позволите, он начнет свой рассказ, а я постараюсь как можно точнее его переводить. Потом, если у вас будут вопросы, я передам их мистеру Муктанандаджи.

«Дьявол! – подумал я. – Вот уже второй раз за день я делаю ошибку, не взяв с собой Амриту». Я прикинул, не отказаться ли от встречи или не договориться ли на другое время, но отбросил эту мысль. Лучше покончить со всем сейчас. Завтра я получу рукопись Даса, а вечером при любом раскладе мы уже будем лететь домой.

– Очень хорошо, – сказал я.

Молодой человек кашлянул и поправил очки. Голос у него был еще выше, чем у Кришны. Через каждые несколько предложений он замолкал и машинально потирал лицо, пока Кришна переводил. Поначалу эта задержка раздражала меня, но мелодичное течение бенгальского языка и певучий акцент Кришны воздействовали на меня как мантра, оказывая гипнотический эффект. Это напоминало состояние повышенной концентрации и вовлеченности на просмотре иностранного фильма, порожденное усилиями, затрачиваемыми на чтение субтитров.

Несколько раз я прерывал их, чтобы задать вопросы. Однако мое вмешательство, судя по всему, сбивало Муктанандаджи, поэтому уже через несколько минут я довольствовался тем, что попивал остывающий кофе и слушал. Несколько раз Кришна обращался к юноше по-бенгальски, тот отвечал, а я сидел, проклиная себя за то, что так и остался одноязыким балбесом. Я сомневался, что даже Амрите удалось бы вникнуть в смысл этих молниеносных переговоров на бенгальском.

Когда рассказ начался, я поймал себя на том, что мысленно исправляю зачастую корявые фразы Кришны или подбираю замену для забавных оборотов его речи. Иногда я делал пометки в блокноте, но вскоре обнаружил, что даже это отвлекает рассказчика, и отложил ручку. Над головой медленно вращались вентиляторы, свет мигал, как отдаленные зарницы летней ночью, а я со всем вниманием следил за развитием событий в рассказе Джайяпракеша Муктанандаджи, переданном голосом Кришны.

6

ПРОСЬБА

*Когда я умру
Не выбрасывайте
Мясо и кости
Но сложите их в кучу
И
Пусть они скажут
Своим запахом
Чего стоит жизнь
На этой земле
Чего стоит любовь
В конце.*

Камела Дас

«Я бедный человек из касты шудр. Я один из одиннадцати сыновей Джагдисварана Бибхути Муктанандаджи, который был вместе с Ганди во время его похода к морю.

Мой дом в деревне Ангуда, неподалеку от Дургалапура, что находится на железной дороге между Калькуттой и Джамшедпуром. Это бедная деревня, и никто извне не проявлял к ней ни малейшего интереса, кроме того случая, когда тигр съел двух сыновей Субхоранджана Венкатесварани, а из бхубанешварской газеты появился человек, чтобы спросить Субхоранджана Венкатесварани, что тот чувствует по этому поводу. Я мало что знаю о том несчастье, поскольку произошло оно во время войны, то есть лет за пятнадцать до моего рождения.

Наша семья не всегда была бедной. Мой дед, С. Мокеши Муктанандаджи, когда-то ссужал деньгами деревенского ростовщика. К тому времени, когда я появился на свет, будучи восьмым из одиннадцати сыновей, нам уже давно с лихвой возместили все деньги деда. А чтобы оплатить часть процентов по его долгам, отцу пришлось продать шесть акров своей самой плодородной земли – что была ближе всего к деревне. После этого на одиннадцать сыновей осталось пятнадцать акров, разбросанных на многие мили. На таком клочке земли невозможно вырастить даже достаточное количество тростника, чтобы прокормить пару буйволов.

Положение немного улучшилось, когда в 1971 году мой старший брат Мармадешвар отправился выполнять патриотический долг и был сразу же убит пакистанцами. Тем не менее перспективы для нас, оставшихся, были не слишком хорошими.

Тогда у отца появилась идея. Я восемь лет проходил неполный курс обучения при Христианской сельскохозяйственной академии в Дургалпуре. Покровителем школы был очень богатый мистер Деби из Бенгальского племенного центра. Это была маленькая школа. У нас было мало учебников и лишь два учителя, один из которых медленно лишался рассудка из-за сифилиса.

Тем не менее я был единственным из семьи, кто вообще ходил в школу, и отец решил, что я должен поступить в университет. Он хотел, чтобы я стал врачом или – что еще лучше – торговцем и принес в семью много денег. Кроме того, это решало проблему с моей, пусть и скудной, долей земли. Отцу было ясно, что врачу или процветающему коммерсанту не понадобится столь маленький клочок.

Что касается меня, то я испытывал неоднозначные чувства по поводу этой затеи. Я никогда не удалялся больше чем на восемь миль от Ангуды и ни разу не ездил ни в поезде, ни в автомобиле. Я мог читать очень простые книжки и писать элементарные фразы на бенгальском, но не знал ни английского, ни хинди, а на санскрите мог лишь прочитывать наизусть несколько строк из “Рамаяны” и “Махабхараты”.

Короче говоря, я не был уверен в своей готовности стать врачом.

Отец одолжил еще денег – на этот раз на мое имя – у деревенского ростовщика. Школьный учитель в своем помешательстве написал мне рекомендацию для поступления в Калькуттский университет и отправил ее туда своему старому преподавателю. Даже мистер Деби, который в свои еще дохристианские годы поклялся Ганди, что будет смиренно работать на благо наших деревень, а свой пепел завещает развеять над главной дорогой Ангуды, тоже отослал в университет письмо, в котором просил проявить доброту и принять бедного невежественного крестьянского мальчика из низшей касты под своды многочтимого храма науки.

В прошлом году появилась вакансия. Большую часть взятых в долг денег я заплатил в качестве бакшиша своему учителю и секретарю мистера Деби, после чего уехал в огромный город. Как же я был напуган!

Не стану описывать, какое впечатление произвели на меня все чудеса Калькутты. Достаточно сказать, что каждый час приносил все новые открытия. Вскоре, однако, я оказался в затруднительном положении. Моих скудных средств едва достало, чтобы внести плату за обучение в первом семестре, а оставшихся денег не хватало на дорожную комнату в студенческой гостинице рядом с университетом. Первую неделю в городе я спал под кустами в районе Майдана, но после того, как начались муссонные дожди и меня дважды поколотили полицейские, я убедился, что нужно искать комнату.

Первые четыре занятия не принесли ничего, кроме разочарования. На занятия по введению в национальную историю собралось больше четырехсот студентов. Учебник для меня был роскошью, и редко удавалось сесть достаточно близко от лектора, чтобы его слышать. Он говорил неразборчиво, причем исключительно по-английски, а этот язык я не понимал. Поэтому я целыми днями подыскивал жилье и мечтал снова оказаться дома, в Ангуде. Я знал, что если даже ограничу питание рисом и шапати один раз в день, то все равно через несколько недель деньги закончатся. Если повезет и я найду подходящую комнату, то голод ждет меня гораздо раньше.

Затем я ответил на одно объявление в газете “Студент форум”, в котором приглашали соседа по комнате, и все переменялось. Комната располагалась в шести милях от университета на седьмом этаже здания, заселенного преимущественно беженцами из Бангладеш и Бирмы. Студент, изъявивший желание разделить пополам расходы на жилье, учился на предпоследнем курсе. Это был выдающийся человек, на несколько лет старше меня. Он изучал фармакологию, но хотел стать когда-нибудь великим писателем, а если не получится, то ядерным физиком. Звали его Санджай, и, впервые увидев его среди гор бумаг и нестираной одежды, я почему-то понял, что отныне моя жизнь никогда не будет прежней.

За половину комнаты он хотел двести рупий в месяц. Должно быть, мое лицо выражало отчаяние. К этому времени в кармане у меня было меньше сотни рупий. Я понял, что совершил двухчасовую прогулку напрасно. Тогда я спросил, можно ли присесть. Подошвы мои страшно болели, после того как меня в одну из предыдущих ночей откололи палками-латхи. Потом я обнаружил, что полицейские сломали мне своды ступней.

Услышав об этом, Санджай сразу же проникся ко мне жалостью. А рассказ о побоях и размерах взяток, которые требуют служащие университетского общежития, привел его в ярость. Как я вскоре узнал, смена настроений Санджая напоминала муссонные бури. В данную минуту он мог быть спокоен, задумчив, неподвижен, как статуя, но уже в следующую мог распалиться до неистовства из-за какой-нибудь социальной несправедливости, пробить кулаком прогнившие доски стены или спустить по черной лестнице какого-нибудь бирманского ребенка.

Санджай состоял сразу и в Маоистской студенческой коалиции, и в Коммунистической партии Индии. Тот факт, что две эти группировки терпеть не могли друг друга и часто вступали в потасовки, казалось, совершенно его не волнует. Своих родителей, которые владели в Бомбее небольшой фармацевтической компанией и каждый месяц присылали ему деньги, он

обозвал “загнивающими капиталистическими паразитами”. Поначалу родители отправили его учиться за границу, но он вернулся, чтобы “возобновить контакты с революционным движением в своей стране”. Еще большую обиду он нанес им, выбрав для получения диплома скандальный и плебейский калькуттский университет, вместо того чтобы найти какой-нибудь колледж попрестижнее в Бомбее или Дели.

Рассказав все это о себе и выслушав мою историю, Санджай тут же снизил мою долю до пяти рупий в месяц и предложил одолжить мне денег на первые два месяца. Признаюсь, я плакал от радости.

В течение нескольких недель Санджай обучал меня искусству выживания в Калькутте. По утрам, еще до восхода солнца, мы ехали в центр города на грузовиках с водителями из неприкасаемых, отвозившими мертвый скот к топильщикам. Именно Санджай просветил меня, объяснив, что в таком огромном городе, как Калькутта, кастовые различия не имеют никакого значения и вскоре, с приходом грядущей революции, исчезнут. Я соглашался со взглядами Санджая, но воспитание по-прежнему не позволяло мне сесть в автобусе рядом с незнакомцем или взять кусок лепешки у уличного разносчика, не поинтересовавшись инстинктивно, к какой касте тот принадлежит. Как бы там ни было, Санджай показал мне, как без билета проехать в поезде, где можно бесплатно побриться у уличного цирюльника, обязанного моему другу какими-то услугами, как проскользнуть в кинотеатр во время перерыва на трехчасовом ночном сеансе.

В это время я вообще перестал посещать занятия в университете, а мои оценки поднялись от четырех F до трех B, а потом и до одного A. Санджай научил меня покупать старые билеты и контрольные у студентов старших курсов. Для этого мне пришлось одолжить у моего соседа еще триста рупий, но он не имел ничего против.

Поначалу Санджай брал меня на собрания МСК и КПИ, но нескончаемые политические выступления и бесцельные перепалки нагоняли на меня сон, и через некоторое время он перестал настаивать, чтобы я ходил с ним. Гораздо больше пришлись мне по вкусу редкие посещения ночного клуба отеля “Лакшми”, где танцевали полураздетые женщины. Такое было почти немыслимо для правоверного индуиста вроде меня, но, должен признаться, это было необыкновенно волнующее зрелище. Санджай назвал его “буржуазным упадком” и объяснил, что наш долг – засвидетельствовать проявления тошнотворного разложения, которые неминуемо сметет революция.

Мы прожили в одной комнате не меньше трех месяцев, прежде чем Санджай рассказал мне о своих связях с гундами и капаликами. Я и до этого подозревал, что Санджай имеет какое-то отношение к гундам, но о капаликах мне вообще ничего не было известно.

Даже я знал, что в течение нескольких лет банды азиатских тугов и местных калькуттских гундов контролировали целые районы города. Они собирали дань с беженцев из разных мест за въезд и право поселиться в заброшенном жилье; они контролировали потоки наркотиков, проходившие через город и оседавшие здесь; они убивали любого, кто вмешивался в их традиционные дела, связанные с защитой, контрабандой и преступностью в городе. Санджай рассказал, что даже жалкие обитатели трущоб, каждый вечер выбиравшиеся на лодках из своих жилищ, чтобы для каких-то целей украсть с реки синие и красные навигационные фонари, платили дань гундам. Эта сумма утроилась после того, как зафрахтованный гундами грузовой корабль, направлявшийся в Сингапур с опиумом и контрабандным золотом, сел на мель в Хугли из-за отсутствия огней в канале. Санджай сказал, что большая часть доходов от этого груза ушла на взятки полицейским и портовому начальству, чтобы вытащить судно из грязи и отправить его по назначению.

В это же время в прошлом году страна переживала последние этапы чрезвычайного положения. Газеты подвергались цензуре, тюрьмы были забиты политическими заключенными, раздражавшими госпожу Ганди, и прошел слух, будто молодых людей на юге стерилизуют за

безбилетный проезд в поездах. В Калькутте, однако, ее собственное чрезвычайное положение было в самом разгаре. За последнее десятилетие население города неимоверно выросло за счет беженцев. Одни полагали – на десять миллионов. Другие – на пятнадцать. К тому времени, когда я поселился у Санджая, в городе за четыре месяца шесть раз сменилось правительство. В конце концов к власти, конечно, пришла КПИ – просто уже некому было, – но даже коммунистам мало что удалось сделать. Настоящие хозяева города оставались в тени.

Даже сейчас полиция Калькутты не рискует появляться в большинстве городских районов. В прошлом году пробовали организовать патрули по два-три человека в дневное время, но после того, как гунды вернули несколько таких патрулей в виде семи-восьми обрубков, комиссар отказался посылать своих людей в эти районы без солдат. А наша армия заявила, что у нее и без того есть чем заняться.

Санджай признался, что вступил в контакт с калькуттскими гундами благодаря своим знакомствам в фармацевтических кругах. Но к концу первого курса, как он сказал, его обязанности расширились и стали включать сбор денег с однокурсников за защиту, а также функции связного между гундами и Союзом нищих в северной части города. Эти занятия не давали ему больших доходов, но зато повысили его положение. Именно Санджай передал приказ Союзу временно уменьшить количество похищений детей, когда газета “Таймс оф Индия” затеяла очередную недолговечную кампанию по обличению подобной практики. А потом, когда газета обратила взыскующий взгляд на убийства из-за приданого, именно Санджай передал нищим разрешение восполнить истощившиеся запасы за счет увеличения числа похищений и случаев нанесения увечий.

А через нищих Санджай получил возможность присоединиться к капаликам. Общество капаликов было гораздо старше Братства гундов, старше даже самого города.

Капалики, естественно, поклоняются Кали. Многие годы они открыто проводили свои церемонии в храме Калигхат, но их обычай каждую пятницу приносить в жертву мальчика стал причиной того, что в 1831 году британцы наложили на Общество запрет. Капалики ушли в подполье и с тех пор процветали. Национально-освободительная борьба за последнее столетие многих заставила искать возможности присоединиться к ним. Но цена посвящения была высока, и вскоре нам с Санджаем пришлось в этом убедиться.

В течение нескольких месяцев Санджай пытался установить с ними контакт. Поначалу его и близко не подпускали. Потом, прошлой осенью, ему предоставили такую возможность. Тогда мы уже крепко подружились с Санджаем. Мы вместе принесли клятву Братству, и я выполнил несколько мелких поручений, передав послания разным людям, а однажды собирал деньги, когда Санджай заболел.

Предложение Санджая вступить в Общество капаликов вместе с ним стало для меня полной неожиданностью. Оно меня удивило и испугало. В моей деревне стоял храм Дурги, богини-матери, поэтому даже такое ужасное ее воплощение, как Кали, было мне знакомо. И все же я колебался. Дурга была символом материнства, а Кали имела репутацию распутницы. Изображения Дурги были скромными, в то время как Кали изображалась голой – не обнаженной, но бесстыдно голой, – и одеждой ей служил лишь покров тьмы. Тьма и ожерелье из человеческих черепов... Исполнять культ Кали вне ее праздника означало следовать Vamachara – извращенной, сомнительной тантре. Я вспоминаю, как в детстве один из моих двоюродных братьев показывал всем типографскую картинку с изображением женщины, богини, совершавшей бесстыдное совокупление с двумя мужчинами. Мой дядя застал нас, когда мы ее рассматривали, забрал картинку и ударил брата по лицу. На следующий день к нам привели одного старого брахмана, прочитавшего лекцию об опасности такой тантрической чепухи. Он назвал это “ошибкой пяти «М»”: *мадья, мамса, матсия, мудра, майтхун*. Это были, конечно, панча макары, которые вполне могли потребовать капалики: алкоголь, мясо, рыба, жесты и совокупление. По правде говоря, совокупление немало занимало мой ум в то время, но перспектива

впервые испытать его в качестве составной части культовой службы была по-настоящему пугающей.

Однако я многим был обязан Санджаю. Собственно говоря, я уже начал понимать, что, возможно, никогда не смогу вернуть ему долг. Потому я и пошел с ним на первую встречу с капаликами.

Они встретили нас вечером на пустой рыночной площади возле Калигхат. Не знаю, чего я ждал – в основе моих представлений о капаликах были истории, которыми пугают непослушных детей, – но те двое мужчин, что поджидали нас, не имели ничего общего с моими представлениями и предчувствиями. Одеты они были как бизнесмены – у одного даже был в руках портфель, – говорили негромко, отличались изысканностью манер и обращались вежливо с нами обоими, несмотря на классовые и кастовые различия.

Церемонии производили очень величественное впечатление. В торжествах в честь Дурги был день новолуния, и перед статуей Кали на железную пику насадили голову быка. Кровь еще капала в мраморный бассейн внизу.

Поскольку я верой и правдой поклонялся Дурге с самого раннего детства, мне не составило труда присоединиться к службе, посвященной Кали и Дурге. Запомнить некоторые ее особенности было несложно, хотя несколько раз я по ошибке зывал к Парвати и Дурге, а не к Кали и Дурге. Оба встречавших нас господина улыбались. Лишь один отрывок отличался от известного мне настолько, что пришлось выучить его заново:

Мир есть боль.
О ужасная супруга Шивы,
Ты пожираешь плоть.
О ужасная супруга Шивы,
Твой язык пьет кровь.
О темная Мать! О обнаженная Мать!
О возлюбленная Шивы,
Мир есть боль.

Через Калигхат вереницей пронесли большие глиняные фигуры. Все они были окроплены кровью жертвы. Некоторые из них изображали Кали в воплощении Чанди Ужасной или Чинамасты, “той, что обезглавлена”, из десяти Mahavidyas, когда Кали обезглавила себя, чтобы напиться собственной крови.

Мы последовали за процессией на берег реки Хугли, по которой, естественно, текут воды Священного Ганга. Здесь идолов бросили в воду с твердой верой в то, что они восстанут вновь. Мы пропели вместе со всей толпой:

Кали, Кали бало бхаи.
Кали баи аре гате наи.

О братья, возьмите имя Кали.
Нет утешения, кроме как в ней.

Я был тронут до слез. Вся церемония показалась мне гораздо величественнее и прекраснее, чем скромные деревенские жертвоприношения в Ангуде. Оба господина одобрили наше поведение, как, очевидно, и жаграта Калигхата, поскольку нас пригласили на настоящее собрание капаликов в первый день полнолуния в следующем месяце».

Кришна прервал перевод. Голос у него заметно охрип.

- У вас еще не возникли какие-нибудь вопросы, мистер Лузак?
– Нет, – ответил я. – Продолжайте.

«Санджай очень волновался в течение всего месяца. Я выяснил, что он не получил того религиозного воспитания, которое, по счастью, досталось мне. Как и все члены Коммунистической партии Индии, Санджай имел дело с политическими верованиями, непримиримыми по отношению к его более глубоким индуистским корням. Вы должны понимать, что для нас религия не более абстрактное “верование”, требующее “акта веры”, чем дыхательный процесс. Воистину проще заставить чье-то сердце не биться, чем отнять у кого-то самоощущение индуиста. Быть индуистом, особенно в Бенгалии, значит воспринимать все предметы как воплощения божественного и никогда не отделять по искусственным признакам священное от мирского. Санджай разделял это знание, но тонкий слой западного мышления, окутавший его индийскую душу, отказывался это принять.

Однажды я спросил, почему он решил добиваться вступления в капалики, если не способен по-настоящему молиться богине. Он очень на меня тогда рассердился и обругал всякими словами. Он даже пригрозил поднять плату за комнату или взыскать с меня долги. Затем, вероятно вспомнив о нашей клятве Братству и увидев печаль в моем лице, извинился.

– Власть, – сказал он, – мне это нужно ради власти, Джайяпракеш. Мне уже в течение некоторого времени известно, что капалики обладают могуществом, значительно превосходящим их численность. Гунды ничего не боятся... ничего... кроме капаликов. Туги, как бы глупы и жестоки ни были, никогда не встанут поперек дороги человека, о котором известно, что он капалика. Обыватели ненавидят капаликов или делают вид, что это Общество больше не существует, но эта ненависть замешана на зависти. Они страшатся одного имени капалика.

– “Уважают”, пожалуй, лучшее слово, – заметил я.

– Нет, – возразил Санджай, – страшатся.

В первую ночь новолуния, последовавшую за праздником Дурги, в первую ночь обряда в честь Кали, на заброшенной рыночной площади нас встретил человек в черном, чтобы проводить на встречу Общества капаликов. По пути мы миновали улицу Глиняных Идолов, и сотни воплощений Кали – соломенные кости, пронизывавшие незавершенную глиняную плоть, – наблюдали за нами.

Храм находился в большом складе, часть которого нависала над рекой, то есть был зданием в здании. Путь обозначался свечами. По холодному полу свободно ползали несколько змей, но в темноте я не мог определить, кобры это, гадюки или безобидные пресмыкающиеся. Я счел это мелодраматическим штрихом.

Изображение Кали здесь было меньшего размера, чем в храме Калигхат, но мрачнее, темнее, с более пронзительным взглядом и в целом гораздо ужаснее. В тусклом неровном свете казалось, что рот то приоткрывался шире, то смыкался в жестокой усмешке. Статую недавно покрасили. Грудь ее увенчивались красными сосками, промежность была темной, а язык – темно-алым. Длинные зубы казались во мраке очень-очень белыми, а узкие глаза наблюдали за нашим приближением.

В храме имелись еще два явных отличия. Во-первых, труп, на котором танцевал идол, был настоящим. Мы поняли это, как только вошли внутрь. Трупный запах смешивался с густым ароматом благовоний. Тело было мужским – с белой плотью и проступающими под пергаментной кожей костями. Его поза – словно благодаря мастерству ваятеля – обладала всеми признаками смерти. Один глаз был приоткрыт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.